

ГАЛИНА ЗЯБЛОВА

СТРОКА на обелиске

Документальная

повесть

*...то что бы ду... будет поим м...
...моим ти... поиме м...
...любил... ой...
...и ти... со...
...васе... м...
...Как я люблю ее! И как я люблю тебя!
Но ведь и я... Дружить з...
...то что бы ду... будет поим м...
...моим ти... и... и поиме м...
...любил... среда... стасил...
...жизни, которой... м... з...
...во... ара... ст... люблю ее! И...
...любил...... Ч...
...то что бы ду...*



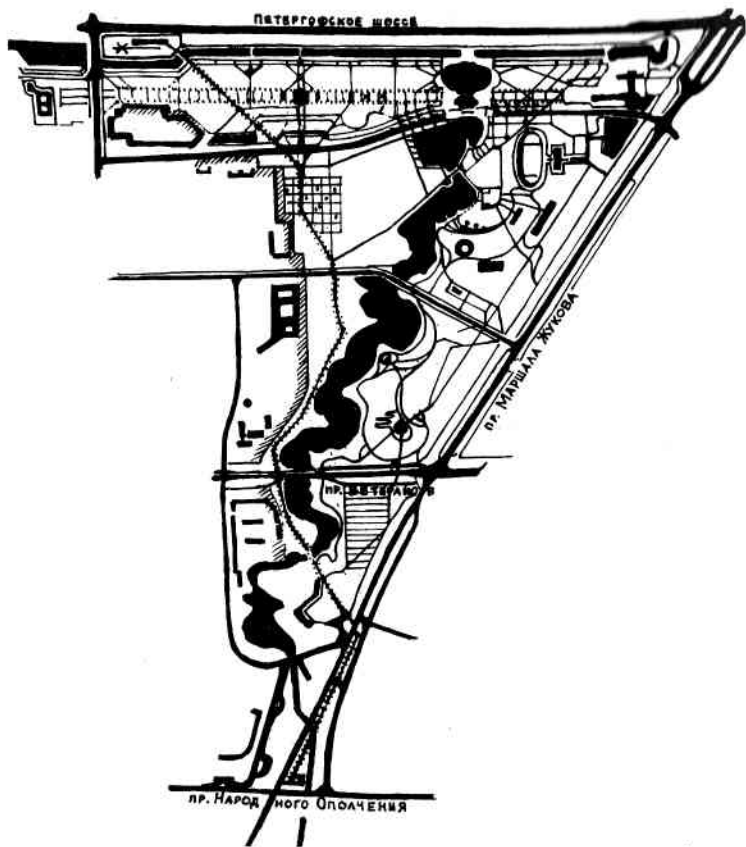


Схема мемориальной зоны близ Лигова

ГАЛИНА ЗЯБЛОВА

СТРОКА на обелиске

Документальная
повесть

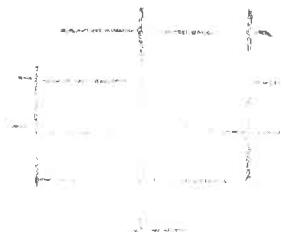
Лениздат • 1989

63.3(2)722.78

399

Рецензенты: Я. Л. Сухотин, В. В. Ермолин

Редактор И. Н. Ионина



3 $\frac{1305010000-270}{M171(03)-89}$ 82-89

ISBN 5-289-00325-8

© Лениздат, 1989

Их трое,
чьи письма и дневники
приведены в этой книге.
Они погибли молодыми, потому
что была война.
Но память о них
сохранили их родные и друзья.
Еще 177 имен ленинградцев
и бойцов
109-й Краснознаменной
стрелковой дивизии
(бывшей 21-й стрелковой
дивизии НКВД),
сражавшейся под Ленинградом,
близ Лигова,
названы на этих страницах.
Быть может, кто-то
из их близких узнает,
как они прошли
свой трудный путь.

Дневник Ростислава Хотинского

Вот тут это было.

С тех пор как прочитала дневник Ростислава Хотинского, все тянет и тянет проехать в тот район Ленинграда, который старожилы называют по-довоенному Урицком, хотя давно там нет ни прежних деревянных, ни тех больших, из серого камня, клиновских, как их звали, домов, а белеют кварталы вновь строящихся Лигова, Сосновой Поляны.

Вся эта местность была фронтом.

Где-то здесь погиб Слава Хотинский, молодой ленинградский скульптор, командир батальона, разведчик.

Махнул бойцам своей группы: «Идите, я прикрою!» — и остался навсегда на этом рубеже 28 января 1942 года.

Вот тут, под самым Ленинградом.

Еще не знаю, каким он был, как воевал. Узнать становится необходимостью, потому что осталась его исповедь, его дневник, написанный в июне сорок первого, на взлете его любви, оборванной, пресеченной войной...

Школьная тетрадь в линейку. Мелкий почерк записи для себя. Записан каждый день жизни, начиная с 1 июня 1941 года. Последняя запись сделана 10 июля того же лета.

Не знаю, вел ли прежде дневники Ростислав Хотинский. Скажу только, как оказалась у меня в руках эта тонкая тетрадь. Случай свел меня с Леонидом Михайловичем Андреевым. Ленинградский инженер, давно на пенсии, он привел в порядок сохраненные в доме письма своих близких. Все в отдельных папках: письма мамы, отчима, сестры Тамары. Отдельная папка — «Дневник Ростислава Хотинского».

— Слава был первым мужем моей сестры. И вот, как нам кажется...

Мне импонирует интеллигентная манера Леонида Михайловича говорить предположительно, словно зара-

нее извиняясь перед собеседником, если предлагаемая тема окажется не столь значимой.

— Сейчас много пишут и по радио читают документы о Великой Отечественной войне,— поддерживает его Софья Михайловна, жена,— и вот мы подумали, что здесь, у Славы, даже сильнее сказано об этом времени, чем у многих...

Так я получаю тетрадь, которая написана в июне срок первого года.

1 июня. Накануне вечером вернулся я из очередной поездки в Выборг. Цель достигнута не была. С возможной работой не удалось справиться — погода помешала: и ветер, и холод загнали в комнату. Из трех сделанных зарисовок хорошая, по-моему, только одна. Устал. Чувствую, что опять выбит из колеи творческой работы. Нужно вновь взять себя в руки...

Тамара встретила с восклицаниями радости, но, как всегда, коснулась губами моих губ (это стало называться поцелуем) и вернулась к работе.

Прочтен: Дж. Пристли «Они бродят по городу».

(Такие пометки делал автор дневника против страниц, где сам с собою делился впечатлениями от прочитанного, увиденного в театре, на концерте, услышанного на лекции.— Г. З.)

Читал до трех часов ночи Д. Пристли «Они бродят по городу». Уснул с надеждой, что сегодня увижу А. Н. (инициалы здесь и далее заменены.— Г. З.), послушаю Барсову, поговорю и забудусь немножко. Сегодня поутру продолжил в постели свой томик Пристли и кончил его. Книга интересная, написана просто и выразительно, но многого о ней не скажешь. Слегка, одним краешком, показался быт средних англичан, быт маленьких людей, вмятых в гигантскую мельницу Лондона, которая — их судьба, их воспитатель, их владыка. Серые жизни посреди безграничного болота, укутанного туманом полубессознательного существования. Становится немножко грустно за этих людей. Но когда книга отложена, то вздохнешь свободно и скоро забудешь все это, как сон, не имеющий ничего общего с нашей жизнью, кипящей гейзером рядом с болотом бытия, описанного Пристли. Вот и все.

Плавал сегодня в бассейне. Но как-то устал. И вообще эти дни живу я несколько сомнамбулической жизнью. Мне все кажется, что большую часть моих

Ростислав
Хотинский.

Страничка
из его дневника.



Одновременно изобрели, уютом
цветом наших лет, Волость, а также
птом цветной и темной нашей
плен. Все смешалось в одно большое
горячее будущее.
Наша жизнь великие друг друга. Наши
волосы сияют ветер...
Как хорошо было!
Купили вы уйдете?
Но ведь и я уйдю. Уйдю дружить со
своим миром, кто будет всем нам
нашим миром и миром и нашим миром
модным среди прекрасных окружающих
жизни, которая для нас самым близким
вашим гарантом.
Как я люблю ее!
И как я люблю мир!

жестов делает за меня кто-то другой, большую часть моих мыслей думает также кто-то другой. Я как-то очень созерцателен...

Слушал: «Травиату» Верди в Малом оперном театре.

Исполняли: В. Барсова, Кильчевский, Шапошников и др.

Вечером слушал Барсову в «Травиате». Пела она хорошо, а так как играет она чудесно, то образ, созданный ею, вообще получился законченный и полнокровный. Артистка она чудесная! Надо заметить все же, что полного удовлетворения она мне не дала. Я отдаю предпочтение Пантофель-Нечецкой. Ее алмазный филигранный голос, со всей присущей ему нежностью и глубиной модуляции, был бы, конечно, приятней и изящней. Более драматический, чем инструментальный, голос Барсовой не дает мне того, что, я уверен, получил бы от Пантофель-Нечецкой. Однако той не хватает актерского мастерства. И это очень жаль, конечно. Но даже несмотря на это я хотел бы послушать в этой роли Нечецкую! Ансамбль оперы хорош безусловно. Все больше мне нравится Альфред (Кильчевский). Чудесно пел и первый раз понравился мне старик Жермон, роль его у Шапошникова получилась очень интересной и жизненной. Музыка Верди проникает в каждую пору. Кажется, что поет все тело, звучит каждый волосок. Как хорошо!

Был я в театре (ДК промкооперации) вместе с мамой и А. Н., захавшей за мамой. Искренне был рад я этой встрече. Такая она уютная, и с ней так просто и хорошо. Душа оттаивает. Кажется, что ей приятно мое легкое ухаживание и со мной ей хорошо.

Я проводил ее домой. Когда мы шли от автобуса к ее дому, я шутя заметил, что удивляюсь, как это до сих пор не замечен живущей напротив Л-й. А. Н. сказала мне такую смелую фразу, что я насторожился и был приятно поражен. «Знаете, — сказала мне она, — так всегда бывает: когда встречи и случаи бывают пустяковыми, их скорее замечают и о них больше сплетничают, чем тогда, когда в отношениях между мужчиной и женщиной появляются серьезные потки...»

Значит, она понимает мои стремления к ней как влюбленность и ухаживания всерьез! В этом я еще не уверен и сам. В этом нужно разобраться. Одно только знаю: ласка и чувство нежное мне нужны, и их я давно не вижу.

2 июня (понедельник). Прочел: Ромен Роллан. «Очарованная душа».

Просмотрел только что оконченную великолепную книгу Романа Роллана «Очарованная душа». Немного устал от волнения, которое вызывает эта книга. Какой мастер ее автор! Так изумительно знает он жизнь и людей! Его Аннет — женщина. Но она — и борец. Ее независимая натура больна неизлечимым идеализмом. Этот идеализм ломает те мостки, которые с трудом создает ее реальная деятельность через потоки низменных чувств окружающего Аннету общества. Как феникс, она возрождается из пепла сожженных ею же храмов любви. Великолепная сила ее личности противостоит в гордом одиночестве всему бушующему океану человечества; ее женственность горит в душе и теле жаждой подчинения силе. В этих противоречиях ее «очарование» — ее поиски примирения с самой собою и ее сила противостояния. Такая силища, найдя себя социально, созидала бы целые пирамиды, будь она в наших условиях. (А может быть, и нет?) О других персонажах можно сказать, что арена деятельности Аннеты вполне ее достойна. Каждый противник и каждый союзник — законченный образ.

Сколько раз находил я себя в размышлениях Аннеты и ее сына! Мне подчас даже страшно становилось от этого сходства. Где-то во мне сидит еще этот проклятый идеалист! Борьба еще не окончена. И когда ее окончу — кто знает. Неужто мне так и воевать с ним? Однако же я воспитан и мыслю не так, как герои Романа Роллана, значит, мне легче, чем Аннете, чем Марку. А воли у меня хватит.

Следовательно, дело лишь во мне самом. И все-таки сидит, сидит и сидит глупость идеалиста и мешает мне. Мешает мне жить моя доверчивость, сентиментальная боязнь обидеть человека и т. д. Запутанность моих семейных отношений, туманная надежда на то, что, может быть, «все образуется» и Тамара вернется. И в то же время неверие в возвращение волнующих чувств, смутное подозрение, что я и сам теряю свою любовь и живу привычкой и сентиментальной боязнью — не причинить ей зла, — все это душит мою свободу, мою мысль, мое чувство. Мне, видимо, нужен кто-то, кто встряхнул бы меня крепко и поставил на ноги. (Неужели здесь я слабее Аннеты, слабее Марка?)

Был на заседании горкома художников. Опять бешено спорили о том, как действовать в деле органи-

зации труда художников. Как горячо хочется создать истинно творческую обстановку, зная, что наша работа необходима обществу.

3 июня (вторник). Прочел: «Сборник дипломатических документов» (Переговоры, предшествовавшие войне, от 10 до 24 июля 1914 г.).

Прочел дипломатические документы, опубликованные Министерством иностранных дел в 1914 году, о том, как честно не желали войны Россия, Франция, Англия и как яростно стремились к ней Австро-Венгрия и Германия. Надо же так ловко показывать одну сторону кровавой кухни, что никаких сомнений в подлинности не остается! Естественным выводом является яростное желание проучить зарвавшихся негодяев немцев за их провокационную игру! Любопытно бы прочитать немецкую версию этого же дела, т. е. немецкие дипломатические документы за тот же период. Надо прочесть записки Бисмарка и историю дипломатии. Вероятно, что-либо отыщу.

Днем штудировал «Очерки по истории античного портрета» О. Вальдгауэра. Замечательно интересная книга о портретной скульптуре! Целая серия блестящих положений о развитии и упадке этого искусства в античности — очень убедительно и много нового для меня. Во всяком случае, расстановка творческих сил раскрывается с такой логикой и полнотой передо мною впервые.

Работал над портретом С. Я. Лемешева. Мне не хватает профильных фото. Очень увлекает его портрет. И хочется взяться за Маяковского, лицо которого так же замечательно интересно. Но ведь этот портрет — первый мой опыт портретирования в скульптуре, и я немало робею.

Но — «смелыми бог владеет!».

Не утерпел. Виделся хоть на двадцать минут с А. Н. Предложил ей сходить завтра на концерт в ЛДИ. Согласилась. Она невнятно заикнулась о том, что рассчитывала на совместный поход в ДК промкооперации (на лекцию «Токио»). Я, к сожалению, оказался занят («Опять дежурство!»). В душе решил, что встречу ее после лекции и провожу домой.

Было открытие конференции художников, работающих над оборонной тематикой, с участием военных представителей, в ЛОССХе.

...А. Н. меня и себя обманула. На лекции она не была, и фиалки, которые предназначались ей, я при-

вез домой. Значит, лекция была выдумана, чтобы пригласить меня (?). Или я очень самоуверен.

Завтра выясним.

4 июня (среда) и 5 июня (четверг). Два вечера подряд провел я вместе с А. Н. Вчера концерт в Ленинградском Доме искусств (отчетный, Ленинградской филармонии) был интересен в ряде номеров. Например, чудесно пела Лелива из Малого оперного театра — меццо-сопрано, очаровательная чувственная женщина. Лучшей Ласочки (Р. Роллан. «Кола Брюньон») не найти. Если бы мне нужна была модель для вакханки — я умолял бы позировать ее! И голос, глубокий, приятный, такой же чувственный и волнующий, как внешность, удивительно гармонирует со всем ее обликом. Сочные губы, немножко хмельные глаза, грубоватое поведение властной, уверенной в себе женщины, — покоряет. В ансамбле с нею гитарист, скрипач и пианист напоминали мне фавнов. Я представлял их себе на празднике Бахуса. Вся серия испанских песен, темпераментных и страстных, в исполнении этого ансамбля звучала великолепно!

А. Н. тоже была в восторге, но она такая уравновешенная, что мне частенько даже не по себе становится от ее спокойствия. Кажется, однако, что я ее заражаю своей горячей восприимчивостью. Она как-то сказала мне, что холодно ей было весь день, и она вспоминала обо мне, чтобы согреться. И еще она сказала мне, что всякая хмурь ее растворяется, когда она встречается со мной. Я все-таки не всегда разбираюсь в себе, но знаю, что энергия откуда-то у меня берется неисчерпаемая, когда я вижусь с А. Н. Я кажусь таким веселым и здоровым, что никто и помыслить не может о пережитом и переживаемом.

Перед концертом я зашел к А. Н. Лил дождь, а я был в костюме без пальто и шляпы. Подъезжаю к проспекту Володарского (Литейный проспект.—Г. З.), вижу — женщина ландыши продает. Я тут же выскочил из трамвая и купил мокрые от дождя цветы...

После концерта погуляли немножко, так как погода была пасмурной, но не дождливой. И вот я был дома в половине второго. Немножко «Истории портрета», и я уснул. А сегодня с утра работал над бюстом Лемешева. Он начинает приобретать сходство с оригиналом. Но отсутствие профильной фотографии меня убивает. Зашел ко мне Вася К-н (сокращения мои.—Г. З.). Удивился тому, что у меня столько работ. Вы-

сказал удовлетворение композицией рельефа «Лыжники» и горячо поддержал мое намерение — вопреки всему довести его до конца. Впрочем, я и сам не сомневаюсь в успехе в конечном счете, как это ни нагло звучит.

Вася открыл мне секрет папье-маше из тертой газеты, клея и мела. Буду пробовать.

Слушал «Иоланту» Чайковского в концертном исполнении ансамбля Ленинградской филармонии.

Вечером — второй концерт из отчетного цикла. Шла «Иоланта» Чайковского в концертном исполнении. Очаровательная музыка этой оперы была мне до сих пор совершенно (если не считать двух арий) неведома. Я получил истинное удовольствие и волновался до слез от вдохновенной работы мастера, с потрясающей силой лиризма, сочно и убедительно нарисовавшего своих героев. Немножко символичная по сюжету, опера стоит на грани реального и звучит правдиво и ярко.

Чудесный мажор финала до сих пор стоит у меня в ушах!

Хорошо пели Кудрявцева (Иоланта) и Шапошников (Роберт). Чуть мешает хрипотца и сипловатость Соломяку. И еще мне очень жаль, что рояль, а не ансамбль аккомпанировал и вел оперу. И все-таки чудесная вещь гениального человека была для меня праздником.

Я сидел с А. Н. вместе. И случилось так, что ее рука оказалась в моей руке, которую она нежно пожалала. Я вспыхнул и почувствовал непреодолимое влечение к ней за ее маленькую ласку.

6 июня (пятница). Сегодня утром разговаривал по телефону с Выборгом — звал К-ру срочно приехать в Ленинград, так как здесь в командировке посланец из подшефного батальона, приехавший за нашими картинами. Мне одному трудно и невозможно поднять организацию самоотчета, и я предложил ребятам срочно сняться и приехать, чтобы не держать здесь человека. Повторилась старая песня: «За общественную работу никогда благодарности не бывает» и т. д. и т. п. Мы поругались, на том дело и кончилось.

На заседании областной военно-шефской комиссии я закинул удочку в Ленинградском Доме Красной Армии насчет помещения для выставки картин, выполненных для подшефной воинской части, и получил утвердительный ответ. Сообщены хорошие сведения, что

отпущены деньги для командировок художникам в Армию. Будем действовать.

Сегодня работал в студии.

Начал этюд обнаженной. Позирует моя старая знакомая Кэт. У нее все-таки очень хорошая для скульптуры фигура. И лепить с нее приятно.

Коллеги уверены в том, что я давно работаю с натуры. Что, если бы они знали, что сегодня я делаю свою первую «обнаженную» с натуры, что я никогда не лепил с натуры фигуру?!

7 июня (суббота). Отправлял маме вещи на паромную пристань. Ей не удалось сегодня уехать, и я решил побывать у нее в гостях с А. Н. Кроме того, я взял билеты в Театр эстрады, где гастролирует Львовский театр миниатюр. Мы встретились с А. Н., и я напомнил ей, что она обещала вечер мне. Она подтвердила. И мы пошли в театр.

Смотрел: спектакль Театра миниатюр (г. Львов).

Два часа чудесного искусства миниатюры, которое у гостей на очень большой высоте. Опять чудесно танцевала Ирена Ружицкая. В пластике ее танца смесь резкости и парадоксальности с мягкостью и округлостью прямо чаруют. Да в общем и весь ансамбль очень хорош. А. Н. была очень довольна. И опять она была ласкова и мила. Это были хорошие минуты, и я был счастлив.

Выйдя из театра, мы поехали к маме и просидели у нее почти до часа ночи. Потом пошли через город пешком. Стояла изумительная белая ночь, и моя спутница, кажется, наконец поняла все очарование этого времени года.

Мы шли медленно и говорили о минувшей семейной жизни каждого из нас. Я рассказал о том, как вошло новое чувство в жизнь Тамары, вспоминал о былом счастье. А. Н. разоткровенничалась тоже: она разошлась с мужем, и общая комната связывает их. У нас судьба близка...

Неожиданно А. Н. резюмировала, что вред женского участия в труде государственном именно в том, что женщина отвлекает от семьи, проводя с посторонними мужчинами почти половину дня, что, впадая в невольное подчинение характеру сильного мужчины-руководителя, коллеги, она увлекается и часто теряет почву под ногами. И нужно вовремя стукнуть кулаком, иначе семья распадется.

Именно так случилось со мной... Да, я вижу, что во всей истории любви Тамары виноват я. Я не помещал, не прервал — я способствовал ее увлечению своим молчанием, своим желанием счастья любимой женщине. (Если она в своем чувстве к другому найдет счастье жизни, то мне нужно, поскольку люблю ее, лишь помочь ей в этом...)

И все-таки увлекаться и любить так хорошо. Я не знаю, что со мною, но меня влечет и к А. Н. Мне кажется, что мое чувство еще не пробудилось. Но тогда что же влечет меня к ней? Смутное волнение, желание видеть и чувствовать!

Мы подошли к ее дому. Она повернулась ко мне, протянула руки и... губы, полузакрыв глаза. Я поцеловал ее. И еще раз...

Боже мой! Я опьянел от этих поцелуев. Я повернулся и пошел, пошатываясь. Я пел. Я ликовал... И я сомневался...

8 июня (воскресенье). Прочел: О. Вальдгауэр. «Очерки по истории античного портрета».

Очень интересная и полезная книга. В памяти осталась целая серия портретов мастеров и теоретические положения об особенностях творчества античных скульпторов.

Прочел: Жюль Верн. «Таинственный остров».

Окончил я также, верно уж в десятый раз читавшийся мною, «Таинственный остров» Жюля Верна. Правда, в последний раз я читал эту книгу лет 15—18 тому назад. Но я всегда хранил самое замечательное впечатление о Жюле Верне и о его лучших вещах: «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «80 000 лье под водой». Сколько этот чудесный автор дает детям знаний, как воспитывает любознательность, приучает к научной терминологии — и все это под видом увлекательнейшего повествования! Великий провидец и образцовый воспитатель.

Тамара сегодня уехала в шесть часов утра с экскурсией в Выборг через места боев в урочище Сумы. Они поехали на автобусе. Вернулась она усталая, но полная впечатлений от потрясающих картин сумского поля сражения и дотов. Совет поехать в хвалимые мною места в районе Сувангоярви, где я был на фронте.

Вечером я заходил вместе с мамой к тетушке. Как всегда, жалобы на Леву. Его сначала без удержу расхваливали, баловали, а теперь так же безудержно на

него жалуются. Он ведет себя петушком, у которого еще не отросли крылья и не окрепли клюв и шпоры, но который уже лезет в драку. Он очень самолюбив и обидчив. И преисполнен в связи с этим духом противоречия.

11 июня. Сегодня наконец-то передали наши картины в собственность батальона. Удалось устроить в Ленинградском Доме Красной Армии встречу актива художников с военными представителями. Мы показали три картины, эскизы к оформлению и тетради с отзывами, газеты со статьями о нас. Я сделал отчет.

Потом многие высказывались по политическому существу нашей работы. Фаянсон из ЛДКА сказал, что наша энергия — это первые серьезные шаги, которых до нас никто не делал, и потому он очень сожалеет, что наш самоотчет так скромнен, что нет представителей творческого союза, мало популяризируется наш труд. И т. п. и т. д. Самого главного никто, из корректности вероятно, не рискнул сказать: что вещи сделаны плохо. Что работать и работать еще нужно.

Конечно, их политическая значимость больше, чем качественная. Но ведь я — художник, и это меня не удовлетворяет. Конечно, приятно, когда люди хвалят и аплодируют за труд. Но это все не то...

Вместо студии зашел я к А. Н. — за нею, погулять.

Погода стояла чудная. Она усадила меня поесть и выпить чаю перед прогулкой, мы заговорились и забыли о походе. Милая, она так многого не принимает в искусстве и литературе; утилитарная и практичная. И вдруг я слышу, что ее увлек в свое время Гвидо да Верона «Мими Блюэтт». Я воскликнул, что расцелую ее за это! Она сказала, что не возражает...

Я ехал домой, смотрел в ночное небо и улыбался.

И мне было хорошо и грустно.

Почему грустно?

12 июня. Был в обкоме работников искусств. Похвалы продолжаются. Завтра нужно подготовить отчет и материал о нашей работе для печати.

Прошел в правление ИЗО к Грибакину. Вениамин встретил меня по-дружески. А я имел в виду побеседовать с ним о личной моей судьбе. Хотел напомнить, что я хочу иметь с Ленизо личные материальные и деловые связи.

Но со мною в комнату вошел художник В-н и принес ему свои эскизы для просмотра. Вениамин ответил, что не может его претензий поддержать, так как не

обладает возможностями принятия новых членов, поскольку не может обеспечить их работой.

Это был, по существу, ответ и на мой вопрос.

Так что когда В-н ушел, я заговорил не о себе, а об организации художников. Мы быстро договорились о деловом свидании завтра, в 10 часов вечера, для составления окончательного проекта бюро труда при Ленизо. Плакала моя студия — еще раз! Что же делать, надо разговаривать об общественных интересах и еще немного пожертвовать собою.

...Дома вдруг понял, что страсть моя бушует.

Неужели я полюбил ее?

13 июня. День ушел очень плотно на работу над Лемешевым.

Бюст должен удался. Я очень люблю его лицо, и, если бы не отсутствие профильного фото, я справился бы с ним давно. Чего бы ни дал я за пару часов работы с натуры?! Но, увы, сие пока для меня, маленького и незаметного, недостижимо. «Терпение, мой друг Горацио, терпение!..»

В третьем часу звонила А. — мне было бесконечно приятно услышать ее голос, прозвучавший приветствием и радостью.

Шел сильный дождь, очень теплый, но очень упорно-длительный. И я поехал туда, где ожидал увидеть ее. Купил цветов. Душистые левкой под теплым дождем изумительно благоухали. Нарциссы и анютины глазки дополнили букетик. И все это возглавили большие тюльпаны, красный и белый. Я сильно вымок. Но мне было радостно и легко. Я беспричинно улыбался и был приветлив и общителен.

Наконец — она! Два слова укоризны за то, что меня и дождь не останавливает. Я объявил, что привез ей награду за внимание, и преподнес букетик. Благоухающие левкой заставили А. быть радостной и ласковой. Так ей и нужно!

«Расскажите вы ей, цветы мои...»

Она призналась мне позже, что они рассказали, что цветы всегда рассказывают...

С большим удовольствием работал в студии. Работа ладилась, а на сердце гимн радости и счастью.

Хотя где-то глубоко-глубоко — тяжело и несносно.

19 июня (четверг). Дни эти пролетели быстро, и я заметить не успел, как их уже не стало. События вокруг незначительные. Толчем в ступе воду в горьком художников по поводу долгожданной организации тру-

да. Удалось устроить кое-что в этом направлении в ЛенИзо. Разработали проект. Разговоры шли в дружеских тонах. Решили форсировать дело в начатом направлении. Наша военно-шефская комиссия взялась послать бригады художников на лагерные сборы в армию, а людей не найти: все заняты, многие уезжают. Все же две бригады скомплектовал. Завтра сдадим списки на утверждение.

Смотрел: М. Горький. «Егор Булычев и другие». В главной роли — Толубеев.

Шестнадцатого смотрел горьковский юбилейный спектакль в Театре имени Ленинского комсомола «Егор Булычев и другие». Перед спектаклем вступительное слово сказал Скоробогатов. Актер замечательный, но мысль его была сбивчива, и не совсем ясно, что, кроме расположения к Горькому, он хотел высказать. Так же не слишком «здорово» сделал доклад Илья Груздев. Должен он был говорить о Горьком и театре, а сказал об изображении купцов у Горького. Слегка лягнул Островского, который хоть трагедию быта и видел в свое время, но социально якобы не раскрыл сущность купца — обогатителя России. Сделал это только Горький, и получилось, что основная заслуга пролетарского классика будто бы в этом (а вовсе не в том, что он, Горький, тип нового человека — пролетария и революционера — создал). В этом много истины. Но все же не только в том заслуга Горького, что он с пролетарской точки зрения купцов живописал. Верно ведь, т. Груздев?

Пьеса сделана в театре хорошо, и Толубеев исполняет Егора просто и проникновенно. Да и вообще все актеры удачно справляются с ролями и воссоздают персонажи пьесы. В целом спектакль очень удачный.

Слушал лекцию «Итоги войны за первую половину июня 1941 года».

Семнадцатого вечером слушал лекцию комбрига К-на об итогах войны за июнь месяц. Содержательно и интересно.

Слушал лекцию о международном положении.

Сегодня слушал лекцию Б-го о международном положении. Немного силен крен в сторону экономики в анализе хозяйственного положения Германии. Хотелось бы и о политике побольше услышать. Звучало так, что вот, мол, глядите, каков наш будущий враг: хозяйственно небошен. духовно истощен...

вернее, лес и парк очень хороши. Особенно в эту чудную белую ночь. Моя дорогая спутница с любовью и нежностью опиралась на мою руку. Светлая головка ее с волнуемыми легким ветром волосами такая милая, такая притягательная. Сердце мое глухо стучало в груди. Тихая радость любви, кажется, осенила меня вновь. И все-таки мы боялись сказать заветное слово «люблю». Ни она, ни я, видимо, не проверили себя до конца, а это слово как-то связывает людей, налагает табу.

Жизнь приобрела новый смысл.

И только раз, около четырех часов утра, нашего слуха коснулись звуки, испугавшие мою дорогую подругу. Самолеты затеяли где-то неподалеку в небе свою игру. Было, впрочем, совсем светло, хотя стояла ночь; особенно мягкий и ясный свет белой ночи так знаком нам, ленинградцам. И вот в тишине и чудной ясности ночи послышалось резкое завывание моторов.

На вопрос А., что это, я спокойно сказал ей, что, вероятно, ночная учеба летчиков.

Вскоре затихло все...

В начале восьмого знакомый врач, у которого мы были в гостях, получил распоряжение из больницы не отлучаться. Он хирург. Все встревожились, особенно в связи с ночными звуками, и невольно подумали: уж не война ли?..

Подосадовали, что он не может пойти на прогулку, и ушли в лес. Лежали, загорали, собирали цветы, а около часа дня пошли к дому, сильно проголодавшись.

Широкое синее шелковое небо с легкими облачками было очень воскресным и радостным. День стоял — первый в этом году — такой яркий и жаркий. И красота дня, и близость любимой женщины — солнце так играло в ее золотых волосах! — все это радовало. И мне казалось, что нет ничего на свете мутного и мрачного, а трудности моего быта в конце концов преодолимы, как и проблемы семейные. И мне было хорошо!

Неожиданно нас догнал наш доктор и, обращаясь ко всем, сказал: «А вы знаете? Война!» Я рассмеялся и отшутился, как мог. Но он настаивал на своем: только что лично слышал по радио Правительственное заявление о войне с Германией. Фашисты сегодня ночью вторглись на нашу землю.

Ночные звуки уже не казались странными, а сборы красноармейцев и краснофлотцев в путь, которые

мы видели, пока шли к дому, подтверждали, что доктор прав.

Мои спутницы упали духом. Решили немедленно ехать в Ленинград. Придя в дом, мы услышали по радио повторение Правительственного заявления и распоряжение командования МПВО.

Все было кончено!

Все смято, раздавлено, разбито. Радость утра и улада ночи показались лишними и нелепыми. Смысл жизни опять становился иным.

Через полчаса доктор пришел и сказал, что его послезавтра уже отправляют на фронт. Я понял, что и моя очередь настала.

Мы заторопились домой.

Распроцались с гостеприимным хозяином, и нам казалось, что мы провожали его, а не радовались жизни накануне ночью.

Что будет с нами?

II

Мы разъехались по домам. У каждого своя семья, и везде смятение чувств и не вполне осознанные еще масштабы события.

Не верилось как-то, что мы живем сегодня, 22 июня 1941 года, в первый день гигантской битвы. Нет! Это не казалось войной, но лишь учениями ПВО. И в городе не было тревоги ни на лицах, ни в поведении людей. Не было и военных приготовлений...

В воздухе реяли самолеты — воздушные патрули. В направлении Финляндии шли караваны грузовых машин. Разъезжали мотоциклисты МПВО. Но в общем все было спокойно, и народ толпился лишь возле уличных репродукторов, ожидая услышать хоть что-нибудь о событиях на фронте. Да, да! Уже нужно было говорить это слово, как вполне обиходное. Фронт! Это гибель тысяч и тысяч. Это горе миллионов. У А. на пограничном с немцами посту в Карпатах, где-то около Дорогобыча, молодой брат, отбывавший первый год службы по призыву. Ведь он должен быть среди тех, кто первым принял на себя тяжесть удара фашистов.

Где-то в Карпатах в горных войсках и мой фронтовой товарищ Юра Соколов отбывает воинскую службу. И он среди первых, кому пришлось столкнуться с врагом. Жив ли? Как мы хотели быть вместе, если вновь вспыхнет война. Но судьба решила иначе. Встретимся ли мы?

Около восьми часов вечера звонил из Вытегры Николай Платонович (отчим Р. Хотинского.— Г. З.). Мама в тревоге за меня и мою судьбу. Успокоил, как мог. Завтра буду говорить с мамой.

Перед сном слушали радио о разных экстраординарных решениях правительства — объявлении военного положения, мобилизации, учреждении трибуналов и т. д.

В два часа ночи в Ленинграде была первая воздушная тревога. Самолетов врага над городом не было. И лишь с северо-запада и севера слышны были зенитки и разрывы бомб, да в небе зарницами вспыхивали разрывы зенитных снарядов. Потом проревели истребители.

...Через сорок минут был отбой, и город уснул до утра.

Я не мог заснуть. Взволнованный вестями с фронта, я ворочался с боку на бок и мучительно думал о том, что делать.

Немцы на нашей земле!

Вторые сутки ужасающего непрерывного боя людей и машин. Я имел все реальные представления о современной войне по недалекому своему прошлому. Я видел кошмары войны вплотную: разрушение и гибель людей и природы. Но ведь это было в сражении с финнами. Что же должно быть сейчас? Я твердо знал, что тяжесть германского кулака колоссальна. И масштабы события начинали становиться для меня обличенными в плоть. А главное — и в кровь! Что делать? Что делать мне?

Нет сомнения в том, что я уйду на фронт. Но сейчас мои братья уже льют кровь на полях сражений.

Что делать?!!

Почему так легко мне было идти на финский фронт, и отчего медлю сейчас? Неужели любовь моя тому причиной? Конечно, мне говорят, что я обязан здесь вести сейчас работу, но...

Вечером в Союзе художников был митинг. И еще раз я испытал чувство глубокого стыда за свои колебания. Старик-художник записался добровольцем в действующую армию. Он вступил в партию.

Я подосадовал, что мои партийные дела задерживают в райкоме. На фронт пойду, получив кандидатский билет.

На митинге принято решение о широком участии художников в агитпропагандистском деле средствами

искусства. Речь идет о плакате, открытках и других видах графики.

Позже встретились с любимой, бродили по городу. Она и я, мы чувствовали какую-то неловкость: любовь в такие дни... И все-таки сердца наши бились близко друг к другу.

По ночному проспекту с грохотом катились танки в сторону Финляндии. Мы стояли и приветствовали танкистов. Настроение такого подъема у стоявшей толпы, что я вновь заколебался, не идти ли завтра в военкомат...

III

В шесть утра опять сводка.

Заняты пункты на нашей земле...

С утра занялся комплектованием бригад для шефской работы в армии. Заявки есть спешные, бригады нужно комплектовать срочно, надо раскачать людей.

Ездил в ЛДКА для уточнения нужд.

Был у меня Лева. Хотел идти добровольцем, а его не взяли: нет восемнадцати. Возил его с собой в ЛДКА — пусть берется за творческую работу, надо заниматься и стрельбой, готовиться к призыву.

В горкоме художников было бесконечно много дел по организации военной работы. К вечеру собралось много художников, и я начал импровизированное собрание с вопросом о военно-шефской деятельности. Хорошо отозвались товарищи. Один призвал к мобилизации всех художников на это дело, — толковый парень этот Коваленко, он прямо так и поставил вопрос: считать себя мобилизованными на военную работу!

Обсудили ряд организационных вопросов. Кончили почти в одиннадцать вечера. Плодотворный был у меня день 24 июня. Все организуется удачно и так, как нужно. У меня резко улучшилось настроение, так как я знаю, что мне делать, чтобы быть реально полезным Родине раньше, чем уйду на фронт.

Утром было две воздушные тревоги подряд. Где-то грохотали зенитки. О тревоге вчерашней ночи говорят, что сбито три самолета у Лахты. Говорят также, что в Песочной сбит бомбардировщик, упавший и взорвавшийся от своих же бомб на кладбище. Каков символ!

IV

25 июня, в шесть часов утра, очередная сводка. (Газетная вырезка с этой сводкой вклеена, как и предыдущая, в дневник Р. Хотинского. — Г. З.)

Наша ленинградская ночь прошла спокойно. А сводка волнует своими сведениями: бои за Гродно, Кобрин, Вильнюс, Каунас. Тяжело сознавать силу врага.

Во мне пробудилась энергия. Мне удалась массовая организация работы, но у меня таяли кадры. Шла мобилизация и делала свое дело. Мой актив уходил на фронт. И все же ряды товарищей смыкались. Я послал бригады на вокзалы Ленинграда для оформления агитпунктов. Настоял на реорганизации горкома художников применительно к военному времени. Под вечер пришел представитель ЛОССХа и предложил художникам большую работу по всем видам, которые мыслимы, как средства массовой агитации. Это задумали мы и раньше, но зато теперь предложение исходило от организации — это увеличивало основательность идеи.

...Вечером А. ждала меня и упрекнула слегка в опоздании. Я рассказал ей о событиях дня. Рассказал о том, что про нашу бригаду напечатала «Ленинградская правда».

Так мы беседовали.

Не раз наши речи прерывались поцелуями и лаской. Потом Асенька приготовила чай. На столе стояла сирень, принесенная мною, и чудно пахла. Голова кружилась... Полумрак начинавшейся ночи окутывал комнату. Я поймал руку женщины, хлопотавшей у стола.

Сознание, что она — моя, что она любимая, поглотило меня настолько, что больше ничего в мире не было реального — только чувство. С трудом мы расстались.

...Завтра я ее не увижу: она дежурит в команде ПВО своего учреждения.

Значит, послезавтра...

Спокойной ночи, дорогая!

На улице стояла теплая ночь, и небо было усеяно сотнями аэростатов заграждения. Больше никаких признаков войны.

Я задумчивый ехал домой.

27 июня 1941 г. (пятница). Пятый день войны. (Здесь к странице приклеена вырезка из газеты со сводкой от Советского Информбюро. В последующие дни записей нет.— Г. З.)

8 июля 1941 г. (вторник). Вчера было четыре воздушные тревоги. Сегодня — уже вторая. До этих дней

над городом летали, увертываясь от зениток, по одному-два разведчика фашистов. Говорят, что в воскресенье сбито их две штуки. До города бомбардировщики так ни разу и не добрались. Сейчас около одиннадцати часов утра. Солнечно, но облака есть. Удобная для налетов погода. Где-то на подступах к городу не дремлют наши.

А я сижу и пишу в дневник! Какое занятие для воина, отсиживающегося в тылу. О, скорее бы сформировать мой отряд! Я бы сделал нужное дело и тогда мог бы уйти и сам.

...Сколько лет бродил я по жизни, разыскивая пропавшее чувство. Я нашел его на рубеже войны. Ирония судьбы.

Она должна уехать с эвакуируемым учреждением. Я — на фронт. В ужасе от предстоящего расставания все мое нутро. А чувство гордости диктует повелительно — бросить малодушие и идти. Но ведь я живу только раз! И может быть, я уже не вернусь. Что-то говорит мне об этом. Хорошо бы ошибиться...

Вчера мы гуляли в Парке культуры на Елагином. Стоял пасмурный темный вечер. Небо, плотно укутанное тяжелыми облаками, временами угрожало нам дождем и грозой. С моря дул теплый, сильный и влажный ветер. В парке было почти пусто. На Стрелке усиленно пыхтел мотор и тарахтели пневматические молотки: спешно строится линия обороны. И больше ничего не было такого, что напоминало бы нам о войне и обо всем, что предстоит еще пережить.

Мы сидели на лавочке. Ася, поджав ноги, забралась на нее целиком, а рядом я. Мимо неслись по волнам две яхты. На них юноши и девушки. Смелые, здоровые, радостные, подстегиваемые яростными порывами ветра, они ловкими движениями меняли курс своих судов, то ложившихся совсем набок, то гордо выпрямлявшихся и стремительно рассекавших воду. Небо, излучавшее теплоту, было необычайно по краскам, и Асенька была золотой от неба и от любви. И молодо нам было и хорошо!

Мы поцеловались и пошли в глубь парка. Сгущался мрак, и сердца трепетали от чудного дыхания природы, окутываемой легкими тенями приближавшейся ночи. И ласковый ветер, и рябь на воде прудов, и деревья, гнувшие к воде тяжелые от листвы ветви, и горбатые мостики, и легкие павильоны — все любимое, близкое, которое невозможно потерять, отдать кому-

то. Все, все это наше и для нас, живых, радостных, любящих людей. Нам не нужно войны и ее ужасов. Мы хотим жить и любить.

Сотню раз мы останавливались, очарованные пейзажем, уголком, цветом наших глаз, волос, ароматом цветов и теплотой наших тел. Все смешалось в одно большое, горячее чувство.

Наши губы искали друг друга. Наши волосы сплетал ветер...

Как хорошо было!

Неужели она уедет?

Но ведь и я уйду. Уйду драться за то, чтобы другие, кто будет после меня, могли жить и лучше, и полнее меня, любить среди роскоши счастливой жизни, которой мы лишены злой волей фашистов.

Как я люблю ее!

И как я люблю жизнь!

Вот и все. Прочитан дневник. И горько, горестно от того, что эта жизнь прервана жестоким варварством войны. Но ритм речи автора дневника, пульсация его мысли, его терзания, советы с самим собой, взлет радости и взрыв отчаяния — все это не оставляет, велит искать, нет ли еще следов его жизни на земле, зовет в те места, где он пал в бою.

Да, он погиб. Вот письмо, которое рассказало близким Ростислава Хотинского об этом.

*Действующая Красная Армия.
1 марта 1942 года.*

Уважаемая тов. Хотинская!

Тяжело писать об этом Вам, но неизвестность еще хуже, чем самая жестокая правда. В ночь на 28 января при выполнении ответственного боевого задания Слава Хотинский погиб смертью героя. Проникнув в траншею противника, он со своей группой взорвал две землянки с фашистами, уничтожил станковый пулемет с прислугой: искали «языка», то есть пленного. В этот момент разбуженные взрывами гранат фашисты подняли боевую тревогу. Слава вытащил из вражеской траншеи раненного в обе ноги младшего командира Клявина и приказал группе отходить, а сам с лучшим бойцом своей группы остался на месте прикрывать отход гранатами и огнем автомата. Руководствуясь своим благородным правилом самопожертвования, муже-

ством и героизмом, Слава и оставшийся с ним боец — студент Марк Гейликман приняли неравный бой с несколькими десятками фашистов.

Мужайтесь, Тамара (я знаю от Славы Ваше имя, читал некоторые из Ваших писем — с его, конечно, позволения), стяните свои нервы в крепкий узел, и его благородную смерть не огорчайте отчаянием и растерянностью.

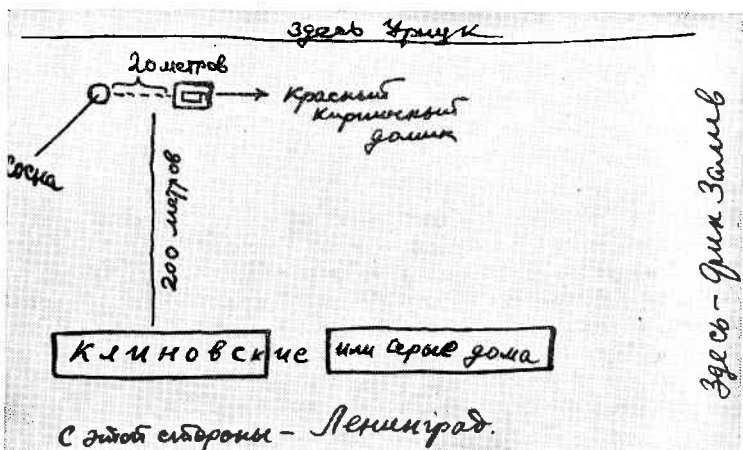
Примите от нас всех, командиров и бойцов разведроты, искреннее соболезнование о смерти Славы.

М. Вашкевич.

Еще одно письмо Тамаре Михайловне Хотинской.

Действующая Красная Армия.
26 апреля 1942 года.

...Вы просите сообщить примерно место гибели Славы. Он погиб на северо-восточной окраине Урицка, куда из Ленинграда в свое время ходил трамвай. Подходя с этой стороны к Урицку, Вы увидите руины двух огромных домов, которые называют серыми или клиновскими домами. Так вот, от корпуса левого дома по прямой на 200 м к Урицку стоит красный кирпичный домик, а левее его на 20 метров — остов огромной сосны. Примерно здесь, с ошибкой на 3—5 метров, и погиб Слава. Для ясности даю схему этого места, простите ее примитивность.



Тело Славы осталось на месте — вытащить его пока не удалось. При первой возможности я буду там, и, если это только удастся, мы постараемся отдать боевому другу последний долг, похоронив его в таком месте, где могила была бы приметна и могла бы сохраниться надолго. Если только меня не постигнет участь Славы и других товарищей, отдавших уже жизнь за Родину, что каждый из нас готов сделать в любую минуту, — мы соберем всех старых друзей Славы и на могиле его вспомним наши боевые дни, его героизм и Вашу печаль разделим с Вами.

Вернетесь в Ленинград — приходите к нам на Красную улицу, дом 73, кв. 23, моя жена будет рада Вас видеть, так как о Славе я ей очень много писал, и она знает его по письмам как самого близкого и дорогого мне товарища. Весь наш коллектив выражает Вам глубокое соболезнование и вместе с Вами скорбит о преждевременной смерти нашего боевого друга — Славы Хотинского.

*По поручению командования
М. Вашкевич.*

Теперь уже и второе имя появляется так же настойчиво: М. Вашкевич. Он кто? Может быть, студент-историк, судя по кругу образов, возникших в его фронтовых поэмах (две вырезки из газеты «За Родину!» тоже сохранились вместе с письмами к Тамаре Хотинской). О нем и вовсе ничего не известно. Если бы жив был, наверное, был бы известен, — писать такой человек не бросил бы... Есть нить, по которой можно начать поиск Вашкевича: в письме назван адрес его дома.

Я пока не иду туда, потому что выдержки из дневника Ростислава Хотинского опубликованы в еженедельнике «Ленинградский рабочий», и я жду с душевным трепетом: вдруг кто-то позвонит или напишет?

Сам Вашкевич?

Или... Вдруг жива Ася?

Поиск

Спросить не у кого: Леонид Михайлович и Софья Михайловна, передавшие мне дневник, на месяц уехали из Ленинграда. Ожидать их кажется долгим, начинаю поиск обычным путем — через совет ветеранов дивизии.

Председателю совета ветеранов 21-й (впоследствии 109-й) стрелковой дивизии, бывшему комиссару полка Ивану Ильичу Агашину имена Хотинского и Вашкевича известны не были.

— Из коренных, первоначальных разведчиков не осталось почти никого,— сказал Иван Ильич.— Все они погибли в первый же год войны. Один вот Бояров Алексей Иванович — он живет в Коломне под Москвой. Он весной приедет. Всегда приезжает на встречу. Да, мы встречаемся обязательно каждый год, Девятого мая, в двенадцать часов, возле Дворца культуры «Кировец» — это бывшая больница Фореля, там располагался во время войны штаб нашей дивизии. Встречаемся. Сначала идут по линии обороны, кто желает и в силах, потом митинг возле Дворца культуры... А Вашкевича, если он печатался во фронтовой газете, мог знать писатель Вересов.

— Нашелся дневник Хотинского?! — Александр Вересов на том конце провода был взволнован очень.— О Хотинском мне много рассказывал Михаил Федорович Вашкевич...

— Он жив?!

— Кто, Вашкевич? Нет,— ответил Вересов.— Вашкевич скончался в госпитале в сорок третьем году. Но есть его дочь, Майя Михайловна, она показывала мне фронтовые дневники отца.

— Она живет на улице Красной?..

— Нет-нет, где-то в новом районе, кажется, на улице Кораблестроителей. Да я отыщу ее адрес и позвоню вам.

Дочь Вашкевича на мое письмо откликнулась тотчас же, к этому времени возвратились в город и Андреевы, все вместе мы сговорились встретиться в Сосновой Поляне, на улице Чекистов. Как сообщила Майя Михайловна, в Высшем политическом училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР есть музей, представляющий в своей экспозиции и историю 21-й (109-й) стрелковой дивизии НКВД, вот туда она передала материалы своего отца, среди которых есть хранившиеся у него некоторые документы Ростислава Хотинского.

Два бойца. Два друга.

Фронтовая жизнь Ростислава Хотинского для меня уже давно соединилась с судьбой Михаила Вашкевича, так восторженно писавшего о друге, так горевавшего о его гибели. То, что оба они оставили дневники, соединяло их в моем воображении и духовно. И вот оказыва-

ется, что вместе сохраняется в истории дивизии и память о них.

...С трамвая, идущего по дороге на Стрельну, я сошла как раз на той остановке, где воевал сержант Хотинский. Неподдалеку от голубого Новознаменского дворца стоит многоэтажное здание Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР.

Улица Чекистов, 1.

Под часами ждала я знакомую лишь по голосу дочь Вашкевича.

Кроме нее пришли и ее мать, Зоя Ивановна, Леонид Михайлович и Софья Михайловна Андреевы. Мы познакомились между собой и с тогдашним директором филиала Центрального музея внутренних войск Владимиром Николаевичем Осокиным. Он провел для нас экскурсию по музею. Здесь были показаны путь и подвиги чекистов, начиная с гражданской войны. В витрине, относящейся к периоду Великой Отечественной войны, мы увидели лежащие рядом тетрадь младшего политрука Михаила Вашкевича и справку, выданную командиру разведывательного батальона Ростиславу Хотинскому. В комнате, примыкающей к залу с экспонатами, директор музея достал два пакета с теми же фамилиями. Открываю пакет, надписанный: «Р. Ю. Хотинский», и вижу его солдатскую книжку, письмо от мамы, письмо от Тамары, открытку от Аси... В пакете с именем М. Ф. Вашкевича лежит толстая пачка листов — его фронтовой дневник.

Тот, кому случалось заниматься поиском документов, поймет волнение и жажду прочесть поскорее все это. Но в тот день нас ждала еще одна встреча.

В дневнике Хотинского дважды упоминается подросток Лева, его двоюродный брат. Теперь Лев Яковлевич Рубинштейн принимает нас всех, собранных письмами двух фронтовых друзей, у себя дома.

...Был канун Дня Победы. Солнечно, тепло, весенне. Стол был накрыт празднично, и мы говорили о войне, о тех, кто живет в памяти близких и всего народа. Оказалось, что дочь Михаила Федоровича Вашкевича многие годы приходила на встречи ветеранов дивизии со списком людей, упомянутых в отцовских дневниках, но так никого и не смогла отыскать: мало осталось в живых из тех, кто в самые первые месяцы войны защитил город своею жизнью.

— А я не знал, что собирается дивизия,— сожалел Лев Яковлевич,— просто приходил на ту же окраину города, к памятнику-танку (знал, что Ростик воевал в той стороне), прикреплял к танку ленту, на ней писал заранее: «В этих местах погиб 28 января 1942 года Ростислав Хотинский». Через несколько дней проезжал на трамвае — видел, что лента там, значит, хоть сколько-то людей прочли имя брата...

— В дневнике есть запись о вас, о том, как вы приходили к нему за советом, как попасть на фронт,— говорю я.— И вы тогда?..

— Конечно, пошел на фронт,— отвечает наш хозяин. Ему в те дни было семнадцать лет, а теперь он известный художник-график, иллюстратор многих книг, чаще всего приключенческих и исторических. На войне был связистом. Кавалер ордена Красной Звезды.

Мы сидим за столом, полчаса назад незнакомые люди, читаем письма двух погибших на фронте друзей, произносим в их память первый тихий тост, а потом говорим и наговориться не можем — вот как много общего в нашей судьбе. И совсем молодой, на наш взгляд, человек, Дим Димыч, с нами сидящий, тоже говорит по-взрослому знающе. Одна у нас страна, одна история — вот в чем суть.

О Дим Димыче надо сказать отдельно. Он пришел по поручению музея училища, он из его актива. Вошел— светловолосый, румяное лицо, форма. Приложил руку к козырьку фуражки, отрекомендовался: «Прибыл по поручению». Пока рассматривали письма, рисунки,— записывал в крохотную книжку. Перед ужином хотел откланяться, но, к нашему общему удовольствию, остался и в разговоре участвовал умно и почтительно. А говорили мы обо всем, о чем говорят на таких застольях, но главной темой была Память. Ведь только потому мы тут и собрались, что кто-то помнил про двух рядовых солдат Великой Отечественной.

...Мы сидели за столом, и это поистине был наш День Победы, как его отмечают во всех домах, по всей стране. Вот уже больше сорока лет прошло, а мы все отмечаем его, как вчера произошедшее главное событие жизни.

О своем отце, Михаиле Вашкевиче, рассказывала Майя Михайловна:

— Мы жили в эвакуации под Омском и получали его письма, его стихи, опубликованные во фронтовой газете. Помню, я читала их на пионерских сборах. Мама

стеснялась, говорила, что они не так уж совершенны, но нашим ребятам они нравились. А из одного стихотворения — «Девушке из Белозерска» — мы сделали песню. Идем с прополки и поем:

Из дальнего края, где властвует вьюга
И лютой зиме нет конца,
Нам пишет на фронт боевая подруга,
Невеста героя-бойца...

Все тетради отца с его дневниками мы нашли у себя дома, когда вернулись из эвакуации. Отец ведь воевал рядом с городом, иногда приходил домой. Мне хотелось увидеть людей, которые его знали на фронте, я искала их, но не находила. И вдруг слышу в информации по радио: вышел сборник «С пером и автоматом», и среди военных корреспондентов называют фамилию отца! Я потом познакомилась с автором очерка — писателем Вересовым, оказалось, что они работали в одной редакции...

— И о Ростике есть одна печатная строка.— Лев Яковлевич достал с книжной полки серый памятный том прекрасной книги о ленинградских художниках — «Подвиг века». Открыл на 205-й странице: «А командиром нашей разведгруппы был художник Слава Хотинский, отчаянной храбрости человек и дерзкий разведчик. Погиб он». Это воспоминания художника Павла Аба.

И вот памятный список в конце книги.

«С чувством особого уважения
к светлой памяти ленинградцев —
художников,
скульпторов,
архитекторов,
музейных работников
мы открываем мемориальный лист.
Здесь вы прочтете имена —
мастеров, достигших мировой известности;
зрелых художников,
за плечами которых остались годы упорного труда
и поисков;
молодых, уже начавших самостоятельную
творческую деятельность,
и тех, кто, подавая большие надежды, только еще
готовился вступить в жизнь.
Все они любили Родину и погибли, защищая любимый
город.

Пусть не печаль, а гнев вызовут в вашем сердце эти скорбные листы,—
еще одна страница обвинительного акта,
который предъявляет фашизму историю».

В этом списке значится: «Хотинский Ростислав. Художник. Погиб на фронте в 1942 году, тридцати двух лет».

...На столе разложены последние письма Ростислава к матери, его рисунки, сделанные во время советско-финской войны, на фронте, его фотографии, тетрадка юношеских стихов. Все это двоюродный брат сохранил, получив от матери Хотинского, которой уже нет в живых. Есть у него и собственная реликвия — договор (тогда чуть ли не главное слово эпохи!) о соревновании старшего брата с младшим. Оба обязуются: один — выполнить в срок намеченные работы, второй — привести в ажур учебные дела.

Еще одну память о Ростике — пластилиновую скульптуру, им выполненную (пограничник с собакой и девушка в косынке), хозяин наш сегодняшний не знает и сам, как сохранил,— держит ее летом в холодильнике, чтобы не деформировалась...

Мы расстаемся в этот майский вечер, но встретимся еще не однажды, и станет шире наш круг, а пока я уношу груды документов, сохраненных родными двух фронтовых друзей.

Ростик — Слава — Ростислав

Здесь мне хочется сделать отступление и сказать, как трогательны эти довоенные имена: Лёдик, Ростик,— каждый из людей старшего поколения может вспомнить свои примеры. И хочется рассматривать фотографии тех, кого вот так звали,— и потому, что в частном видится что-то от времени (вспомним, толстовского юношу звали Николенька — и уже ни в какие другие времена его не вставишь!), и потому, что в общей картине времени стремишься высветить именно это лицо. Ростик — Ростислав Хотинский, так его звали дома.

Открываю тетрадку с лирой на обложке.

1927 год. Ему семнадцать лет. И стихи — о весне, с посвящениями «Я. Р.», с пометкой: «В альбом Рене Р.» («Вы гармоничны друг для друга — весна и ты, и светлый май»). Ответ Сергею Есенину: «Я сейчас, стоя на переломе, так решил: да, в жизнь, а не в петлю, потому

что в каждом мышечном атоме клич: „Вперед! Я жизнь люблю!“». Стихи «Рельсам»: «Быстро мчи, паровоз, меня в даль, манящую неизвестным...»

Каким он был в школе? Это ведь проявляется сразу: если человек рожден слышащим жизнь, он включается в общую работу, где бы он ни был. Сохранился документ с таким штампом: «СССР. Исполбюро школькома Брянской советской школы имени III Интернационала». Это характеристика, выданная Ростиславу:

«Исполбюро, давая характеристику учащемуся 8-й группы «А» Хотинскому Р., отмечает, что он за время пребывания в школе принимал активное участие в общественно-политической жизни школы и нес следующие нагрузки:

1. Председатель кружка юных натуралистов;
2. Секретарь кружка физкультурников;
3. Член редколлегии школьной газеты;
4. Член исполбюро и класскома группы;
5. Председатель на школьном совете;
6. Председатель шахматного кружка».

Строки, за которыми можно увидеть и приметы времени, и черты характера школьника Хотинского. Вероятно, несмотря на свой яркий общественный темперамент, Ростислав с юности привык вести постоянный разговор с самим собой. В стихотворной тетрадке — размышления о прошедшей на его глазах революции:

Мне думалось: люди — звери:
Ведь можно бы... по-иному...
Без этой пулеметной трели...
Без этого разгрома.

Думал я: собрались бы вместе
Недовольные и довольные люди
И решили б вопросы чести —
Кто кем был и кем кто будет.

Словом, нужно большое собрание,
На котором и белые, и красные
Решили бы прекратить страдания,
Всенародные и напрасные.

Наверное, где-то за этими строчками — боль об отце: тяжело раненный на войне 1914 года, он пропал без вести, затерялся в пожаре революции. И отчим его — вчерашний офицер, они с матерью Ростислава живут в провинциальных городах. Самому Хотинскому трудно пробиться к высшему образованию, он работает на стройках землекопом, кровельщиком, бетонщиком. На заводе нынешнего Адмиралтейского объединения его

приняли в комсомол, рекомендовали вузу — «как лучшего товарища, принимающего участие в практической работе». У Ростислава нет чувства социальной ущербности, он сознает себя частью молодой страны. В стихотворении 1930 года, последнем из записанных в тетради, от имени своего поколения он говорит:

Мир принадлежит мне!
Мне —
его маленькому атому,
Которого он не смог не заметить.
Архимед,
в Лете веков,
говорил:
Дайте мне
точку опоры,
И землю
я переверну!
Ну-ка, философ,
смотри,
Как мы ворочаем горы!
Опору нашли!
Смотри же, ну!
Эта опора —
мы, молодежь.
И рычаги —
мы же, сами.

Каким он был в двадцать лет? Мне хочется это узнать, и я прошу у Леонида Михайловича Андреева для прочтения весь семейный архив, шесть папок с подшитыми в них письмами: «Дядя Коля — маме Асе», «Письма от мамы», «Тамара, Леонид, Слава — маме Асе»; «Переписка с родными. 1926—1936 годы», «Томочка. Тамара Михайловна Хотинская».

Читаю и читаю вечера напролет, беру с собой за город — не беллетристику, а эти папки со старыми письмами одной ленинградской семьи. Обычной. Трудно живущей. Любящей своих близких. Их почерки теперь узнаю сразу, выстраиваю линии жизней. Семья, в которую войдет Ростислав Хотинский, обстоятельствами жизни бывала временами разбросана, и потому письма оставались нитью родственной связи. Любя друг друга, здесь не выбрасывали письма после прочтения, а берегли. Даже война не заставила расстаться с последней памятью о любимых. А теперь эти письма разложены по папкам: имена, годы. Историк, изучающий быт тех лет, многое мог бы почерпнуть в этой переписке: здесь и цены на неуловимое масло, и обстановка на бирже труда, и слухи, и вечный страх старших попасть в «лиштенцы».

До последних лет мы редко говорили, да и думали, пожалуй, о том, как трудно жило поколение людей, оказавшихся в том отрезке времени, который отсекли две войны. Даже когда был мир, им жилось сложно.

Милая Тамарочка, — пишет мать, уехавшая с отчимом в Грозный, — до нас дошли слухи, что в Ленинграде и Москве продается белый хлеб по коммерческой цене, по 4,50 за кило. Вот счастливые! Неужели правда? Если это действительно правда, то я вас прошу купить нам с дядей Колей, посушить и прислать.

Томуся, здесь ходят слухи, что будто бы будут повсеместно отбирать музыкальные инструменты, как то: пианино и рояли у всех решительно. Здесь некоторые уже начинают продавать. Узнай все, как у вас в Ленинграде, все ли спокойно относительно отобрания инструментов. Как Леда, играет ли он на рояле?

Огорчений пропасть — реальных и ожидаемых. Потеря калаша на вешалке в любительском театре — почти трагедия: других не достать. Но вот и о радостном: мама удачно дебютировала в спектакле.

Тебя интригует, какая же роль у меня? Дорогая Тамарочка, роль очень маленькая, эпизодическая, но довольно-таки характерная и с ней надо умело справиться, мне помогла моя природная восторженность. У нас в драмкружке усиленно готовят монтаж к Ленинским дням. Весь кружок участвует, я тоже. Дядя Коля будет в роли чеченца.

Дорогая моя крошка, как я устала, если бы только знала! Вернулась только что с базара. Знаешь, сколько стоит здесь картофель? Одна штучка (картофелина) величиною с коробок спичек — рубль. Ну, довольно плакать о жизни тяжелой, о голоде, уж это так неприятно и тяжело, что мы поговорим, детка моя, о чем-нибудь другом. Ты уже знаешь, что в «Грозе» я участвую в роли Кабанихи. Так вот, мое золотко, ты можешь своей мамой гордиться. Хвалили меня лично и за глаза.

Письма. Груды писем. А в них среди бытовых (интересных лишь для близких) подробностей — строчки, говорящие о времени.

Мы вернулись сегодня домой в 11 часов вечера с лекции бывшего председателя «Грознефти» о поездке

в Америку для изучения нефтяного дела. Он умница, и доклад его был интересен, хотя и продолжался четыре часа.

Длинные, длинные письма, которые они писали, стараясь заполнить до конца и одну, и другую половину большого листа, до самой последней линейки, клеточки под нею, и таких листов в каждом письме несколько. Долгие разговоры в письмах. По телефону тогда не переговаривались. А телеграммы, считали, «очень мало говорят уму и ничего не говорят сердцу».

Чего только не узнаешь из писем! Вот, например, пишет Анастасия Дмитриевна (мама Ася) уже из Ленинграда сыну:

Как прошли у вас Майские торжества? У нас же здесь удивительно красиво и грандиозно. Во-первых, погода чудная, совсем лето, весны не было. Все ходят в одних платьях, настолько жарко и хорошо. На Первомайских праздниках все были одеты в праздничные костюмы и платья, на Невском проспекте множество публики, яблоку негде упасть. Не только в первый день, но и во второй тоже. В этом году было особенно красиво и грандиозно.

А вот имя Ростислава появилось в письме отчима Тамары, Николая Илларионовича. Можно себе представить по этим строкам, как рассказывала Тамара своим родным о новом друге.

...Из твоего письма видно, что несомненно имеет на тебя значительное влияние тот молодой человек. По твоим словам, он чрезвычайно разносторонен, удивительно умен, начитан и развит, высоко интеллигентен. Из дальнейшего оказывается, что он свой парень для рабочих, сразу завоевывает уважение и любовь не только среди своих ребят, но и стариков (какой же старичок поделился с тобой своими мыслями?), что у него поразительно честное отношение к жизни и к людям, что он очень добр, отзывчив и чуток, всегда готов оказать какую-либо дружескую услугу. Кроме того, оказывается, он замечательный художник и даже поэт, словом, «исключительная личность»!!! После таких дифирамбов личности всех других «ребят» в моем представлении так потускнели, что нам с тобой вряд ли придется о них говорить. Попасть под влияние та-

кой интересной личности неплохо, и тебя, значит, можно поздравить. Вот только происхождение, по твоим словам, подкачало: «из дворянской семьи», вот это, черт возьми, с его стороны большая неосторожность, но и то сказать, не проявил же он тут слишком большой неосмотрительности, то есть в выборе своих родителей. Бога ради, не подумай, Тамарочка, что я хочу непременно чуть-чуть поиздеваться над тобой и твоими приятелями и твоими аттестациями. Ты знаешь, что я неизменно к тебе расположен и очень хочу тебе верить, да, в общем, и верю. Правда, по своему образу мыслей я в значительной степени скептик, но если ты даже наполовину только права в обрисовании личности «Славы», то слава ему, слава и ныне, и присно, и во веки (не веков, конечно, а на ваши века).

Вот уже и первые приветы на двоих:

Хорошо, что вы занимаетесь зарядкой. Приветствую. Заряжайтесь! Ваша жизнь впереди! Катанье на лыжах — хорошая штука, здоровая вещь. Катайся, детка, катайся на здоровье, только теплее одевайся. Привет Ледику дорогому, поцелуй его. Славу тоже крепко целую. Ваша мама.

Длинные письма, долгие разговоры любящих людей. Беспокойство старших, их радость при каждом малом свидетельстве того, что младшие будут счастливы.

Ростислав Хотинский и Тамара Андреева поженились в 1931 году. Ему — двадцать один, ей — восемнадцать. Мне кажется, я вижу их жизнь, движимую вдохновенной энергией Ростислава, их общим — и для времени типичным — стремлением к высокому. У знаменитой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной прочла близкие к этому моему представлению строки о жизни ее современников: «Итак, юность наша, многих людей искусства, науки, практической жизни была окрашена бескорыстием, бедностью, отдаленным гулом грохота гражданской войны, если угодно — романтизмом, убежденной и органической идеализацией событий и людей, и друг друга; в центре всех и каждого стояло искание истины... Каждый на свой лад мог повторить дивные слова Блока: «Я слышу шум переворачиваемых страниц истории». Мы не искали покоя, благоустройства, накопления; мы довольствовались воблой и лепешками из картофельной шелухи, веревочными туфлями, потертой одеждой... Мы встает-

ли и ложились со стихами, иные с музыкой, в некоторых других так же крепко и прочно заложено было внутреннее сознание своей творческой миссии в искусстве или науке; они — и молодые, и старые — были всегда спокойны, уверены в закономерности всего совершающегося, бурные волны конкретного бытия разбивались у ног их возвышенной философичности...»

Как великолепно выражен здесь образ жизни, когда нет быта, но есть — бытие! Бытие — не приземленно конкретное, а наполненное постоянным определением себя в этом мире, своего места в движении человечества к лучшим дням. И это было завидное бытие!

Студия АХРР в Демидовом переулке. Здесь давались не только познания в живописи и рисунке, тут занимались литературой, изучали драматургию, ораторское мастерство, — ставка была на всестороннее развитие художника, которому ведь должен быть понятен и близок весь мир.

Театр и музыка были им необходимы, как книги, а без книг жить было просто невысказано. Искусство — это был их способ жизни, осуществления себя. Искусство 20-х — начала 30-х годов... Концентрированно увидев его полвека спустя на выставке «Москва — Париж», мы ведь были ошеломлены его мощью, человечностью, дерзостью красок, конструкций и замыслов. Татлин. Леже. Пикассо. Матисс. Кандинский. Петров-Водкин. Шагал. Филонов. Титаны — они были для ровесников Хотинского живыми, действующими современниками, их творчество возбуждало споры, но бесспорно настаивало на бесконечной творческой способности человека преобразовать мир.

Улицы — наши кисти,
Площади —
наши палитры,—

по-маяковски готовили себя друзья Хотинского к творчеству, преобразующему мир. Ростислав делал зарисовки на Днепрострое, создавал скульптуры на канале Москва — Волга, ездил оформлять сельские клубы накануне посевной кампании, готовил перед Первомайскими праздниками оформление рабочих колонн Кировского района Ленинграда. В его папках остались наброски рисунков, тканей, таких, например, как «Нефть» (фонтаны и вышки по голубому полю) или «Завтра» — он видел его в ритмах новой техники, взмахах плотин над реками, ажуре высотных башен. По заданию студии АХРР он создавал модели новой спортивной одежды.

Искусство и спорт, наверное, были в жизни Ростислава величинами равновеликими. Он всех вокруг заражал своим пристрастием к спорту. Поехал на лето делать зарисовки диких животных в государственный заповедник «Поляна Гузерпиль» на Кавказе— и там всех научных сотрудников вывел на утреннюю зарядку, на волейбольную площадку, в тир. Лыжник, стрелок, он добровольцем пошел на войну в 1939 году.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Тов. Хотинский Ростислав Юрьевич, боец отдельного лыжного батальона № 98, за время нахождения в действующей Красной Армии по борьбе с белофиннами проявил себя как лучший боец разведывательного взвода. Тактически грамотный, политически грамотный. По боевой и политической подготовке является отличником. Стреляет из орудия отлично. Представлен к награждению значком «Отличник РККА». Во время выполнения боевых заданий проявил смелость, инициативу. Среди товарищей пользовался уважением. Хороший общественник. Дисциплинирован. Редактор «боевого листка».

За время нахождения в действующей Красной Армии имел ряд благодарностей, получал премию от командования батальона к 22-й годовщине РККА.

Такая справка хранится в деле Ростислава в музее ВПУ имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР.

Он был не только отличным бойцом. Художником ощущал он себя всюду и везде. На его карандашных зарисовках, сделанных тогда,— портреты бойцов, суровые сосны Карельского перешейка, природа, чей покой нарушен войной. Ряды колючей проволоки, настороженные прожектора...

Колючая проволока и сегодня ржавеет на дне старых рвов. Выложенные валунами подземелья все еще глубоки — их заметет не скоро в тихих, покрытых светлыми мхами лесах. Одна мысль неизменно приходит, когда видишь стружья окопов на склонах: должно же когда-нибудь исчезнуть само понятие «война»!

Возвратившись с финского фронта, Хотинский возглавил военно-шефскую комиссию горкома художников. В первые две недели Великой Отечественной войны формировал бригады художников для выполнения срочных заявок воинских частей. Повсюду нужны были яркие, зовущие в бой плакаты: на вокзалах, откуда отправлялись войска, на мобилизационных пунктах, на улицах города. С первых же дней художников включали в состав творческих бригад, едущих на фронт.

«ТВОЙ СЫН НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ У ПРЯЛКИ...»

СПРАВКА

выдана тов. Хотинскому Ростиславу Юрьевичу, 1910 г. рожд., в том, что он зачислен в Ленинградскую армию народного ополчения по Куйбышевскому РВК.

27 июля 1941 г.
Куйбышевский райвоенкомат

Письма Ростислава к матери читаются как продолжение его дневника.

*Ленинград. 5 июля 1941 года
Дорогие мои!*

Война разбила лучшие надежды и стремления. Она уничтожила все, что хорошим цветом расцветало в наших душах. Осталась острая ненависть к врагу и горечь от бед, нас постигших. Каждый день, который я живу в тылу, приносит мне огорчения и боль. И единственным утешением моим является сознание соотнесенности делаемых сейчас дел с теми, которыми я занят был бы на фронте. Руководя военно-шефской комиссией, я обеспечиваю нужды агитационной работы. Я сейчас остался и председателем горкома художников, мне приходится вести и профсоюзную, и партийную работу. Организую добровольцев в ополчение и армию; это очень сложно для одного, — но это нужно, и я делаю. Однако здесь есть и та опасность, что лучшая агитация — личный пример! И мне приходится призадумываться — как решить вопрос с разумным выводом. Идти сейчас — значит оставить бесформенной массой моих товарищей, не идти сейчас — я чувствую себя дезертиром, и, ходя по улицам, такой здоровый и сильный, я стыжусь самого себя. К войне я лично готов вполне и в любую минуту могу уйти на фронт.

Так обстоят дела.

У нас в городе все в порядке. Гостей непрошенных не пускают защитники. Настроение бодрое и уверенное. Работаю я с утра и до сна. Конечно, устаю, но об этом сейчас никто не думает. Времени не остается для размышления — его хватает только для действия, да и то, пожалуй, не хватает... Возвращаясь домой, я каждый раз ощущаю какую-то неудовлетворенность: мне кажется, что я не все, что мог, выжал из трудово-

го дня. И тогда еще раз сомневаюсь в нужности своей здесь...

Будьте здоровы и уверены в том, что увидимся и попируем в честь славной победы нашей над фашизмом.

Обнимаю и целую. Ваш сын.

Ленинград. 15 июля 1941 года

Моя дорогая мамочка!

Это письмо ты получишь, вероятно, в то время, когда меня уже не будет в Ленинграде или, во всяком случае, в рядах гражданского населения. Ты не должна ни беспокоиться, ни расстраиваться. Ты ведь всегда знала, что твой сын не может стоять у прялки, когда за окном стучат мечи. Дело ясное, моя милая матушка!

Мне поручают и доверяют среди многих миллионов таких же, как и я, здоровых и сильных людей встать на защиту Родины. И я знаю, ты гордишься этим доверием. Ты знаешь, что живые сердце и мозг советского человека обливаются кровью от успехов, которые имеет враг. И потому наша воля стремится к отпору и разгрому врага. Вот и я больше не в состоянии сидеть за организацией дела, кропотливого и нудного в условиях, когда миллионы рук уже сжимают оружие. Еще раз, как и в дни боев с финнами, мне предложили специальное и ответственное место в рядах бойцов. Я счастлив, что могу оправдать доверие. Видимо, в ближайšie два-три дня уйду в Красную Армию. Так развернулись события.

Дорогая мамочка! Я постараюсь быть более аккуратным, чем в прошлую войну, корреспондентом. Но я думаю, что ты будешь так же крепка, как и в прошлый раз. Если по разным причинам ты и не получишь несколько дней вестей от меня — то это, видимо, по серьезным, не от меня зависящим причинам. Пишу тебе об этом для того, чтобы ты была готова к временным перерывам и не отчаивалась бы раньше времени. Будь здорова и сильна духом. Переписывайся чаще с моими друзьями — все же будешь чувствовать себя в кругу своих. Целую вас обоих крепко-крепко. Ваш сын.

Ленинград. 1 августа 1941 года

Дорогая мамочка!

Твое первое письмо из Вытегры получил вчера и сейчас, пользуясь очередной воздушной тревогой, задерживающей меня дома, пишу ответ. Верно, конечно, что каждое сильное и волевое лицо, как ты пишешь, нужно и в тылу, как и на фронте, чтобы тыл был крепок. Спору нет, что пригодиться здесь я могу и был бы годен все это время, ведя свою большую работу. Но есть один ответ на это, который заключается в нескольких словах. Есть люди постарше возрастом и во все не безвольные — им на фронте труднее, чем тем, кто помоложе. Значит, нужно найти в строящейся к обороне стране то место, где положено быть каждому.

Сильные духом и телом должны быть в рядах фронтовых бойцов. Сильные духом, но телом послабее должны остаться в рядах тыловых бойцов. А бойцы — мы все! Я подготовил людей на свое место. Переставил их так, что в дело вошли активные хорошие товарищи, в годах солидные, но душой настоящие граждане. Теперь я спокоен, что все будет в порядке. «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Так сказал Шекспир в «Отелло». Но «Мавр» — боец активный, и он уходит туда, где его голова и его руки будут заботиться в рядах миллионов о победе над врагом.

Я больше не мучаюсь, когда иду по улицам. Я уже знаю свое место в боевых рядах. Готовлю свой отряд и вскоре уйду из родного города. Я теперь — командир вверенного мне, подобранного лично мною отряда бойцов. Это доверено мне партией и страной. Я горд и счастлив этим, как всякий, кто получает такое доверие. Остается выполнить возложенную на меня задачу на «отлично». Дело это, выполнение этой задачи, нелегкое. Но тем больше для меня в этом привлекательности, чем больше трудности. Забота моя сегодня: как бы подобрать себе людей покрепче, товарищей получше.

Так идет моя кипучая жизнь.

...Кончилась воздушная тревога. Спешу ехать из дома. Ну, будьте здоровы и бодры. А мы постараемся сделать все, чтобы закончить войну так, как заканчивать полагается — с полной победой.

Действующая Красная Армия.
24 октября 1941 года

Дорогие мои!

С радостью и удивлением узнал я о том, что вы в Саратове. Это произошло на днях, когда я случайно попал в Ленинград с фронта. Спешу сообщить, что я жив и здоров. Очень жду писем от вас. Вам, вероятно, известно, что под Ленинградом военная погода благоприятная. Началась позиционная война. Конечно — теперь-то особенно ясно — врагам в городе не бывать. Думаю, что к весне воздух будет чище на земле русской. И может быть, увидимся за веселым семейным столом, где будут воспоминания и рассказы, а главное, будет счастье, что весь военный ад уже позади.

«Надежды юношей питают» — не так ли? Живите же этой надеждой и уверенностью, что эти минуты, часы и долгие годы спокойного труда еще впереди...

19 ноября 1941 года

...Я так реально представляю себе вас в милых бытовых привычных картинах. Я так остро знаю их, и чувствую, и сожалею о них. Тем больше ненавижу врага, чем больше представляю себе размер общественно-го бедствия и все те лишения, которые испытывают такие, как наша хорошая трудовая семья.

Ну да ладно, и на нашей улице будет праздник.

Посылаю вам свою фотографию за работой над фото, нужными моей части.

Вот каков я есть сейчас.

Любящий вас сын.

(Письма, сохраненные вначале матерью Ростислава Хотинского Надеждой Леонтьевной, а затем его двоюродным братом, цитируются здесь не целиком: опущены сообщения о родных, о друзьях, — люди, разлученные войной, старались как-то соединить разорванные связи, сообщить все, что знают о близких, — кто ушел на фронт, кто уехал в тыл страны. У Ростислава всегда было много друзей, Надежда Леонтьевна их любила и привечала, не случайно он ей советует: «Переписывайся чаще с моими друзьями — все же будешь чувствовать себя в кругу своих»).

Моя дорогая, любимая мамочка!

Сегодня, 19 января, я получил твое первое из Саратова письмо от 23 декабря. Это большой праздник, так как, сама понимаешь настроение мое, если я не получал от вас ничего с июля прошлого года. Я очень скучал, но ждал терпеливо. Война учит терпению! <...>

Кропотливо и уверенно делаем мы свое боевое дело. Хочется делать больше того, что сделано. И я уверен, что не было у меня такого дня, как тот, когда я открыл счет и убил своих первых двух врагов. Я забочусь, чтобы этот счет беспрестанно возрастал. Я, будучи командиром группы разведчиков, обеспечил себе доброе имя среди своих бойцов и товарищей по боевому делу. Но постоянно стремлюсь к большему, и мне хочется работать куда как лучше, чем я это делаю. Ты знаешь трудности нашего фронта. Ленинграду нелегко пришлось. Но у города свои исторические традиции, и он преодолел эти трудности. Надеюсь, что последние дни фашистские гады поглядывают из своих логовищ на прекрасные контуры нашего города. Скоро, скоро этому лицемерию наступит окончательный предел.

И я горд, что на мою долю пришла часть великой задачи обороны родного города и родной страны.

Дома у меня дела обстоят весьма и весьма неважно. Ленинградцам тяжело было эти месяцы жить. И вот с 27 декабря я не имею ничего и из дома. Фашисты могли «постараться». Словом, время нелегкое и для нас, и для населения. Няне и Тамаре, как тебе это понятно, в особенности тяжело. Их молчание — страшит и иначе, чем с глубокой тревогой, необъяснимо. Что-то будет...

Дорогие мои, любимые! Поздравьте меня с торжественным событием: 24 декабря меня приняли в ряды ВКП(б). Это был канун моего 31-летнего юбилея. В этот вечер мы выпили чарочку своего спецпайка за всех любимых отсутствующих. Как — не горели ли у вас уши и не мучили ли воспоминания обо мне? А?

Ну вот, мои родные. Очень рад, что настроение у вас боевое. В этом я и не сомневался ни минуты.

За меня будьте спокойны. Я благоразумен, насколько позволяет терпение. Будьте же и вы терпеливы и

благоразумны. И все будет хорошо, когда мы кончим нашу победную войну.

*Мир вам, мои дорогие. Целую крепко-крепко.
Будьте здоровы. Слава.*

Жить ему оставалось восемь дней...

Весна. И как всегда — теплый, солнечный день девятого мая. Никогда еще не было, чтобы этот день случился холодным и хмурым. Так мне кажется, да и все так говорят. В двадцатую годовщину Победы мы стали ее праздновать как-то особенно торжественно. Тогда по Невскому проспекту шло так много участников Великой Отечественной, что, по принятому для главных праздников обыкновению, были поставлены легкие ограждения между тротуаром и мостовой. Потом, когда оркестры и ветераны-воины прошествовали, весь народ двинулся за ними на Дворцовую. Да, вот так теперь все время и происходит, и люди заранее слушают радио — на какой час назначено шествие, и весь Невский за час до первых звуков оркестра ждет, и со всех балконов, из окон глядят вдаль — когда на некрутом взлете Аничкова моста покажется колонна. И ждут, и жмутся к канату, который держат морячки и солдаты, взбираются на приступки у зданий.

Что же это надо-то нам?

Что увидеть хотим и прочесть на этих лицах, которые все старше, да словно пересчитываем каждый раз и горько себе говорим, что все меньше народу идет за военным оркестром... Звенит медь тарелок, гудят золотые трубы, дирижер встряхивает шелковые кисти бунчука, летят в небо марши, brave и грустные. Идут за оркестром старые солдаты.

Как же их мало-то!.. Да, четыре ряда всего на этот раз...

Но какая бесконечная за ними лавина людская! Вот пройдут только мимо оркестр и ветераны — и сразу все, кто стоял у домов, так и двинутся следом, посреди Невского проспекта, и уже сами начинают махать тем, кто глядит и машет из окон. Общий день. Общий праздник. И еще есть кому быть в этот день «со слезами на глазах».

Надо сказать, что и утро этого дня отмечено бывает в Ленинграде всеобщим движением к нескольким точкам, сосредоточившим нашу память о войне. Как-то мы были в такой день на Пискаревском кладбище с моим однокурсником, приехавшим из Болгарии. Как все, при-

мерно час мы медленно двигались вдоль могил к подножию памятной стены, где волной лежат цветы, венки — это от организаций, от консульств социалистических стран. А на всех, на каждой могиле — фиалки, тюльпаны и еще — конфеты, апельсины...

— Кто сюда созывает людей? — спросил Виолин, мой спутник.

— Никто. Сами приходят.

Шли тихо. Было много детей, пожалуй, уже правнуков тех, здесь лежащих. Быть может, и они когда-то приведут сюда своих ребят. И будет тогда уже праздник без слез незаживающей потери.

«Дорогие наши ветераны!

Поздравляем вас с Праздником Победы!

Желаем вам здоровья, счастья,
мирного неба над вами.

Пусть никогда зловещие тучи войны
не нарушат вашего покоя.

Ученики 481-й школы, 7,,б"».

Это дети раскрасили листовки и прикрепили на видных местах. Этот текст я списала с такого листка, вывешенного на Ленинском проспекте возле цветочного магазина. Внизу на нем уже стояло несколько росписей под словами «Спасибо вам, ребята!».

Девятое мая.

Кажется, никто не остается дома в этот день.

Кто-то на площади Победы у Монумена героическим защитникам Ленинграда, кто-то уехал на Пулковские высоты, кто-то к Ивановским порогам... По проспектам в районах новостроек идут церемониальным маршем, с оркестрами курсанты военных училищ, и люди, не привыкшие еще тут дефилировать, заполняют к этому часу широкие, еще не обжитые улицы. Толпа на Ленинском проспекте. Именно здесь, в этих местах, в такой близости от Ленинграда, шла линия его обороны. И вот тут, в бывшей больнице Фореля, ныне Дворце культуры «Кировец», размещался в 1941—1942 годах штаб 21-й, ставшей затем 109-й, дивизии НКВД, в которой числились воинами те люди, память о которых и ведет все это повествование.

Двенадцать часов дня. Девятое мая.

Верно, так оно и есть, как каждый год: собрались ветераны. Встречаются, целуются, с кем-то особенно дол-

го не могут руки разжать: кто-то приехал, давно здесь не бывавший. Говорятся речи. Музыка торжественно звучит. Оркестр, между прочим, школьный, а дирижер — седой, вся грудь в орденах. И видно, как мальчишки его любят, и жена его принимает цветы.

Затем выступления от ветеранов, от молодежи Кировского завода, вручение Почетных грамот за военнопатриотическую работу, минута молчания и прочтение скорбного списка тех, кого за этот год не стало... И выходят два человека, которые хотели бы встретиться с фронтовыми свидетелями жизни и смерти своих близких. Называют фамилии. «Кто, товарищи, помнит?..» Ждут. И кажется, что напрасно ждут. Некому вспомнить. Некому рассказать...

И потому еще такую ценность представляют фронтовые дневники Михаила Федоровича Вашкевича, что он рассказал о боях вот в этих самых местах, где мы сейчас стоим. Там, где был остановлен смертельный враг.

В дневниковых записях Вашкевича мы еще встретимся с Ростиславом Хотинским и Тamarой Хотинской. Теперь же — последний из документов, хранящихся в музее училища в конверте с фамилией погибшего героической смертью сержанта.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ КНИЖКА

Хотинский Ростислав Юрьевич.

Звание и должность: сержант, командир отделения.

Наименование части: отдельный разведывательный батальон 21-й стрелковой дивизии.

Наименование подразделения: 1-я стрелковая рота.

Грамотность и общее образование: незаконченное высшее (3 курса скульптурного факультета ВАХ).

Национальность: русский.

Год рождения: 1910.

Год призыва: 1941 год. Доброволец.

Каким военкоматом: призван Куйбышевским РК ВКП(б) Ленинграда.

Специальность до призыва: художник-скульптор.

Место рождения: г. Николаевск-на-Амуре.

Место жительства: г. Ленинград, 3, Колпинская ул., д. 10, кв. 7.

Прохождение службы: отдельный разведывательный батальон 21-й СД, 1-я стрелковая рота, сержант, командир отделения. 9/X 1941 г.

Участие в походах: в финской кампании. 11/I — 28/III 1940 г.

Вещевое имущество: шапка зимняя, шинель, гимнастерка х/б, шаровары ватные, рубашка нательная, рубашка теплая нижняя, сапоги кирзовые, ремень поясной, ранец, сумка для ручных гранат, котелок. (В графе «Рост»: шинель — 3, шапка — 55, сапоги — 41, ботинки — 40.)

Вооружение и техническое имущество: автомат «Суоми» № 8116. Патронов к нему — 90. Выдано 4 октября 1941 года.

Эту красноармейскую книжку еще будет держать после гибели своего друга Михаил Вашкевич. Поклянется написать книгу, и — напишет, напишет ее! А другой друг, Леонид Андреев, сохранит семейный альбом с посеребренным обрезом толстенных страниц, с фигурными рамками, в которые вставлены снимки их ровесников.

Война. Год первый

(Фронтовой дневник Михаила Вашкевича)

Михаилу Федоровичу Вашкевичу, работнику Ленинградского почтамта, ко времени начала войны было 36 лет. Он отслужил на Балтийском флоте. По болезни был непригоден к военной службе. На фронт пошел добровольцем.

1941 год

7 июля. С 23 июня по 6 июля был на трудовых работах. Копал противотанковые рвы в Усть-Луге. Работал бригадиром. В бригаде было сорок человек. Работа наша проходила под отдаленный гул артиллерийской канонады и рокот летающих над нами самолетов.

На мое заявление о добровольном вступлении на флот ответа нет. Принимаюсь за обычные дела.

10 июля. «Обычными делами» занимался недолго. Сердце все время было не на месте. В голове стучало: «Родина зовет!» Сегодня дал согласие на вступление в партизанский отряд. Ежедневно ходили в РК ВКП(б) Куйбышевского района, где через военный стол договаривались об организационной структуре отряда. Лебедев намечен начальником отряда, Сухов — комиссаром, я — помощником начальника отряда.

19 июля. Два отряда уже ушли в тыл врага. Вооружили очень хорошо. Дали автоматы, ручные пулеметы Дегтярева, карабины, гранаты, обмундирование. «Просачиваться» через фронт будут с помощью воинских частей. Теперь на очереди наш отряд. Настроение у всех бодрое — поскорее на дело, в бой с врагом.

20 июля. Ленинграду угрожает вторжение врага. Нужно организовать мощную оборону, не допустить

гитлеровцев в любимый город, рабочими батальонами разбить врага. В связи с этим ходят слухи, что нас уже не будут отправлять на фронт в виде партизанского отряда, а вольют в Первый рабочий батальон Куйбышевского района.

21 июля. Свершилось! Нас зачислили в Первый рабочий батальон Куйбышевского района на правах особого истребительного взвода. Вчера состоялись выборы командира и комиссара батальона. Главное — поскорее и возможно успешнее проверить свои качества на деле: не погибнуть в бою бессмысленно, а вернуться из боя с победой и с наименьшим уроном для нашего отряда.

8 сентября. Сегодня ленинградцы впервые испытали ужас бомбардировки. Несколько фашистских самолетов, несмотря на заградительный огонь зенитной артиллерии, прорвались к городу и сбросили зажигательные и фугасные бомбы. Над нашим зданием (Чернышев пер., 9. Холодильный институт) поднялись клубы белого, плотного, как вата, дыма, совсем рядом был огромный пожар. Зрелище, похожее на извержение вулкана — Везувия или Этны, как видел в детстве в учебниках географии. Поднявшись на крышу шестиэтажного дома, мы увидели несколько очагов крупных пожаров. Над отдельными зданиями полыхало пламя, и к небу вздымался густой дым (белый, черный, коричневый). Как только потемнело, начались атаки фашистской авиации. Загудели сирены. По небу забегали лучи прожекторов. Высоко в небе горела Полярная звезда — наша с Зорькой эмблема чувств.

(Зоя Ивановна Вашкевич рассказывает, что еще в молодости, на первых свиданиях, они условились: в разлуках, вспомнив друг о друге, отыскать на небе Полярную звезду. Это всю жизнь была их звезда. Она не раз еще встретится нам во фронтовых записях Михаила Вашкевича: звезда Зои — Зорьки — Кожуховой — ЗК — Полярная звезда.— Г. З.)

Самолетов не было видно, зато их работа была заметна: целые площади вспыхивали огнями зажигательных бомб. В частности, Кировский район, Средняя Рогатка и местность слева от нее. Затем летели фугасные бомбы. Возникло несколько пожаров.

В этот же день видел «работу» немецких минометов, их белый стелющийся по земле дым и бомбардировку минометных батарей врага, которую вела наша дальнобойная артиллерия.

15 сентября. Вчера вечером при выходе с овсяного поля на ночлег я и несколько товарищей выкупались в канаве с водой, которых здесь очень много. Ночью тряся от холода и сырости, сушиться было негде, спал на полу в бомбоубежище.

«Мессершмитты» жужжат, как комары,— так же протяжно и тонко.

17 сентября. Сегодня мы принимали присягу.

Наш взвод был выстроен в комнате детского очага жилмассива «Электросилы». На стенке были наклеены самодельный самолет и парашютисты, прыгающие с него.

Слышалась артиллерийская канонада зениток и гул сбрасываемых немцами бомб. Окна-рамы дребезжали. Вскоре мы увидели пламя двух пожаров от сброшенных бомб. Принятие присяги в такой близости к фронту приближало нашу клятву к ее непосредственному выполнению. Многие, видимо, думали то же самое, что и я,— поскорее встретиться с врагом и на практике выполнить то, в чем клялись перед Родиной, правительством и народом.

Из Холодильного института, куда мы прибыли 1 сентября, мы ушли 12 сентября. За пять следующих дней побывали в нескольких местах под Ленинградом, но встреч с врагом не было. Неоднократно нам указывали огневые рубежи, мы окапывались, делали окопы для стрельбы стоя, блиндажи-дзоты, а затем командование, учитывая обстановку, перебрасывало нас дальше.

С 15 сентября мы находимся в непосредственной близости к фронту. Ежедневно наблюдаем воздушные бои, пожары, ночное их зарево, заградительный огонь наших зениток. Уже дважды я видел, как падают сбитые гитлеровские стервятники. Особенно эффектно шлепнулся фашист, сбитый над деревней Шушары. Разрывы зенитных снарядов ложились рядом с фашистскими самолетами, но они, к нашей досаде, продолжали лететь, изредка меняя строй для дезориентировки наших зенитных батарей. Вдруг один стервятник качнулся и начал падать, затем выровнялся, а через 3—5 секунд колом полетел в землю. С места, где он упал, взвился клуб черного дыма, и на мгновение показалось пламя. Наверно, взорвался его бандитский груз.

За эти дни мы мало спали, причем ночи были разные: спали в канаве на дороге (дрогли от ночной ро-

сы и сентябрьского холода), спали на каменном полу в бомбоубежище одного из жилмассивов «Электросилы». Мокли мы и под дождем, грелись у костров, испытывали перебои с питанием, хлеб ели, как высшее лакомство. Сейчас питание снова наладилось. И хотя мы не раздевались и не разувались уже пятеро суток, мерзли и слегка поголодали, наш боевой дух остался на прежней высоте.

Не сегодня завтра мы вступим в бой — это будет лучшим часом для каждого из нас. Мы не отдадим нашего города. Не быть врагу в Ленинграде!

Вчера ходили на стрельбу. Дистанция — 100 метров. Все пять пуль я вцепил в мишень. Оценка — «отлично». Еще бы! Недаром же я — ворошиловский стрелок. Винтовка все же бьет вправо — немного сбита прицельная рамка. Теперь я знаю ее погрешности и должен бить чуть левее.

23 сентября. Полдня копали окопы. Вторую половину дня до 11 часов 30 минут вечера я с двумя товарищами дежурил на крыше шестиэтажного дома (рядом с новым Ленинградским Домом Советов) на Международном проспекте. Это был пост ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь.— Г. З.). За этот день видели и испытали много нового.

В три часа дня два «мессершмитта» вынырнули из облаков и прострочили из пулеметов наш аэростат с двумя наблюдателями. Аэростат вспыхнул и со снопом пламени начал падать вниз. Тут же раскрылись два парашюта: наблюдатели выпрыгнули из корзинки. Через минуту от аэростата осталась лишь длинная, черная, извилистая полоска дыма.

Около пяти часов район расположения нашей части (Международный проспект, в районе нашего поста ВНОС) был обстрелян немецкой артиллерией. Снаряды с визгом летели в нашу сторону и падали буквально рядом. К нам на крышу сыпались щебень и штукатурка. Несколько снарядов, перелетев через наш дом, разорвались в 100—150 метрах. В результате этой бомбардировки в нашей роте были ранены старшина роты — в руку и один красноармеец — двумя осколками в ногу. В шестой роте ранили четверых. Некоторых тяжело. Убитых нет. Это первый обстрел нашей части — своего рода боевое крещение. На крыше сидеть было не особенно весело: визг приближающегося снаряда, надо сознаться, не из приятных; разрывы сотрясали весь дом — казалось, он качается.

Читаю записи, сделанные тотчас после пережитого этим мирным человеком, для которого началась Великая Отечественная война. Началась на улицах Ленинграда, не где-то там, вдали, а вот здесь, возле домов, которые мы все так хорошо знаем. Ленинградцы помнят, как долго стоял не восстановленным покалеченный снарядами Дом Советов с барельефами по фронтону. Рядом с ним на крыше одного из зданий был пост воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), где дежурил в конце сентября 1941 года Михаил Федорович Вашкевич.

Сначала прочитав, а теперь и готовя к публикации написанное, я все с большим уважением думаю об этом рядовом солдате Великой Отечественной войны, записывавшем с первых ее дней все, что видел.

Сохранилось многое из того, что писал Михаил Федорович Вашкевич. В музее Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР лежит в витрине его тетрадка с конспективными записями прочитанных книг. Войска стояли в обороне. Велись позиционные бои — с вылазками в тыл врага за «языком», с налетами на окопы противника. Напряженная оборона сдерживала натиск фашистов. Однако люди ухитрились и в этой невероятно тяжелой жизни отыскать точки опоры для общения не только вынужденного, бытового, но и духовного.

Когда смотришь военную хронику нашего города, видишь людей, записывающихся добровольцами в первые дни битвы, шагающих в отрядах народного ополчения мимо Нарвских ворот на фронт, — хочется остановить кадр и долго глядеть в лицо каждого: это ведь ленинградцы, ставшие солдатами. Что было в их довоенной жизни? Что их ждало впереди?

В семье Михаила Федоровича Вашкевича хранится снимок из фронтовой газеты: красноармеец М. Вашкевич, где он в солдатской шинели, шапке-ушанке, в руках — винтовка. Рядовой великой войны.

О красноармейце Вашкевиче мы знаем многое.

«Год рождения — 1904. Место рождения — город Калуга. Национальность — русский. Родной язык — русский». Цитирую по копии анкеты для вступающих кандидатом в члены ВКП(б), заполненной им самим для первичной организации отдельной разведроты 21-й стрелковой дивизии НКВД 1 июня 1942 года.

«Занятие родителей...» Нет, тут, пожалуй, не обойдешься одной лишь записью в анкете. На фотографии в

Михаил Вашкевич.



семейном альбоме — светловолосая, с гладким зачесом на пробор, молодая дама в длинном светлом платье и мужчина — бравый, с усами. На коленях у матери мальчик, за руку с отцом — другой. Михаил — младший сын белоруса Федора Осиповича Вашкевича и француженки Марии Фридолины Тенгли. Откуда такой симбиоз? Она — шестнадцати лет прибывшая из Швейцарии гувернантка. Поскольку приглашали ее в дома для того, чтобы говорить с детьми по-французски, русский язык она так почти и не выучила. Больше всего на свете, судя по семейным преданиям, любила читать романы (французские, разумеется). Как они поняли друг друга — загадка туманная. Скорее всего, только такая жена и могла вынести причуды непоседы мужа. Федор Осипович мог вдруг надумать, собрать пожитки и с семейством отправиться в края, о которых услышал что-то доброе. Так, наверное, они и очутились вместо Петербурга в Калуге.

Михаил Федорович любил этот город своего детства. Когда Калугу освободили от фашистов, красноармеец Вашкевич писал во фронтовой газете «За Родину!»:

Калуга древняя! Садов столетних шелест,
Задумчивая рябь предутренней Оки...
Сиреневых садов таинственная прелесть,
Гармошка за рекой, рыбацьи огоньки...
Вот Балашовки скат... И домик с мезонином,
Где Циолковский в тьме полугодных дней
На много сотен лет к планетам пододвинул
Простор путей и мощь воздушных кораблей.
Прославленный сосед! Маг межпланетных далей!
Ракетопланы в бой повел бы ты с врагом,
Когда б глаза твои сегодня увидали,
Во что был превращен твой драгоценный дом!..

В 1924 году летом Михаил Вашкевич вступил в комсомол, его принимала ячейка 1-й Калужской государственной типографии.

«В сентябре 1924 года по комсомольскому набору ушел добровольцем на Балтийский флот,— пишет он в своей автобиографии.— В основном служил в Кронштадте на кораблях Учебного отряда и бригады эсминцев. Осенью 1926 года окончил курсы командиров запаса флота. В общей сложности на флоте прослужил 4,5 года. Получил ряд благодарностей от командования за подготовку молодых моряков, участие в строительстве и боевой работе флота, за общественно-комсомольскую работу.

За активную военкоровскую и литературную работу политуправлением Краснознаменного Балтфлота был

направлен в редакцию газеты «Красный Балтийский флот», где работал последние месяцы перед демобилизацией. С декабря 1928 до августа 1941 года занимался пропагандой и распространением большевистской печати. Имел много премий и благодарностей, в том числе от наркома связи за работу по обслуживанию воинских частей в период финской кампании».

Вот канва его жизни, события, произошедшие до войны. Читатель еще узнает некоторые подробности любимой морской службы М. Вашкевича, сейчас — вернемся к чтению его дневника, рассказывающего о первых месяцах войны.

4 октября. Мы на том же рубеже, куда пришли 25 сентября. Устроились очень хорошо. Наша землянка имеет деревянный пол, стены обшиты тесом, поставлена печка. Есть нары для сна. Ходили в караул. Дежурили на посту ВНОС. За эти дни не прекращалась работа наших батарей, густо усеявших окружающую нас территорию. Когда бьют тяжелые орудия, врытые в землю в 80—100 метрах позади нас, в нашей землянке гаснет керосиновая коптилка, содрожаются стены и нары. Почти ежедневно фашисты обстреливают наш участок, но большинство снарядов ложится по другую сторону Московского шоссе. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, время от времени слышится визг немецких снарядов, которые летят в правую сторону от здания Московского райсовета (примерно в полукилометре от нас).

Вчера ребята достали несколько кружек пива и балалайку. Сразу же поднялось настроение. Пели «Коробочку» и другие русские песни. Один из наших бойцов оказался приличным балалаечником — сыграл даже «Баркаролу» Чайковского и ряд других вещей из классической музыки. Командир отделения Хотинский, бывший в финскую кампанию бойцом лыжного батальона, пел написанный им «Марш лыжников». До глубокой ночи говорили об искусстве и литературе. Мы с бойцом Абрамовым, художником-графиком по профессии, ушли на пост ВНОС, где дежурили до трех часов ночи и говорили о желаемых далеких путешествиях. Перебирали страны, куда нам хотелось бы поехать: Италию, Испанию, Грецию, Японию, Индию. Не забыли и острова Борнео и Мадагаскар с богатой флорой и фауной. Абрамов не имеет особого пристрастия к графике и даже к живописи. В душе он бота-

ник, любит цветы и вообще весь растительный мир. Рассказывал мне о рыбах, которые... тонут в воде, так как независимо от наличия жабр живут на воде, как водяные пауки. Водятся они в Африке. Поделился также воспоминаниями о своем детстве, проведенном на Амуре. Смеясь, рассказывал, как они держали маленького сибирского пушного зверька — бурундука — исключительно для чистки орехов, которые он очищал и заготавливал на период зимней спячки в большом количестве.

Нет, этот интерес Михаила Вашкевича к людям не пропадет! Мы будем читать еще сотни страниц его фронтового дневника, и всюду будем отмечать, как малейший повод узнать что-то новое будет им использован, люди рядом откроются ему. Имя за именем прочтем мы в его дневниках. И не может быть, чтобы это, хотя бы и такое позднее, прочтение его записей не помогло кому-то узнать о своих близких.

...Только что один из снарядов упал на крышу здания, находящегося в трехстах метрах от нас. Над зданием взвилось облако дыма и пыли, взлетели каменная плита и более мелкие его осколки. В воздухе жужжат три «мессершмитта».

5 октября. Вернувшись во втором часу ночи в дзот, я до семи утра проспал в куче ребят. Голову положил на котелок, так как противогазную сумку невозможно было втиснуть. Ногам было очень холодно. Утром, выйдя из дзота, мы увидели, что окопы, щели, доски, кучи земли — все бело от инея. Начинаются морозы. Надо поглубже зарываться в землю.

7 октября. Вчера вечером до часу ночи вторично стояли на посту ВНОС (но только на ротном, а не на батальонном, как в ночь на шестое) с тем же Абрамовым. Говорили об искусстве и во многом сошлись во мнениях.

Печку в дзоте подмазали глиной, сделали дверцу и спали благодаря этому в тепле. Только под утро стало холодно, — взошла луна, и мы проснулись. На печке вскипятили чай, только вода оказалась тухлой: взяли мы ее из карьера соседнего кирпичного завода, другой не было.

В три часа командира отделения Хотинского вызвали в штаб роты. Вернувшись, он объявил, что откры-

та запись добровольцев в разведчики. Без колебаний записался и я.

Вечером пришли пулеметчики и заняли наш дзот. Мы пошли к щели, в которой ночевали 30 сентября. Ужинали, стоя у входа в нее, так как там было темно и сыро.

8 октября. В первом часу ночи вернулся в щель с ротного поста ВНОС. В течение всего моего дежурства самолеты врага вились над Ленинградом, но пост наш имеет укрытие от осколков. Лучи прожекторов бегали по небу, выискивая врага. Налет окончился двумя пожарами в городе и ожесточенной пальбой наших дальнобойных батарей.

Так бывает почти каждый день.

Вернувшись с поста ВНОС, узнал, что мне дневать до четырех утра. Сейчас сижу против печки (которую не успели оборудовать) и понемножку согреваюсь. Пил кипяток. Хлеба нет.

Эти подробности трудного времени — на память нам, потомкам. Кто-то может пробежать глазами по строкам: опять на посту ВНОС, опять в новом дзоте. Но читать эти записи нужно только со вниманием, с пониманием того, что вот так, с такими трудностями привыкания к фронтовому быту, начавшемуся прямо в городе, вступали в войну люди сугубо штатские, люди разные, а становились Армией. И защитили город и страну.

«Путь наш был очень тяжелый...»

10 октября. Восьмого октября, в шесть часов вечера, как только мы окончательно завершили оборудование нашей щели (осушили пол, сделали нары и двери, поставили печку), получили распоряжение «снять посты» и в полном боевом порядке идти к штабу роты. Это значило — на новый рубеж. Уже не первый раз так было: как только обживемся, вобьем последний гвоздь, — нас перебрасывают в другое место. Вернейшая примета.

Путь наш был очень тяжелый. Темь, хоть глаз выколи, дождь, сильный холодный ветер, плюс ко всему ужасная дорога — со рвами, лужами и другими препятствиями (рельсы, шпалы, бревна). Многие спотыкались, падали. Наконец вышли на огороды, засаженные капустой, свеклой, картошкой. Поскольку ушли без ужина и все хотели есть, дойдя до капусты, накину-

лись на нее, как кролики. Клинком штыка я тоже очистил небольшой кочешок и съел его с жадностью.

Перед определением ночлега была мучительная часовая остановка под проливным дождем. Все промокло и продрогло основательно. Казалось, заболеем, но — нет! — ничего, видимо, уже закалились.

Ночевали в тесной землянке вповалку. На моих ногах спали другие товарищи. Скученность помогла согреться, и, хотя дышать было нечем от гнилой соломы и курева, заснули моментально (наверно, около часу ночи).

В пятом часу утра нас разбудили и снова вывели для занятия рубежа. Разморенных сном и мокрых от вчерашнего дождя, нас сильно трясло. В лужах застыла вода. Ярko светила луна. Наша с Зоей звезда была прямо над головой.

Пройдя по грязи и разрушенному мосту с километр — полтора, мы втиснулись в окопные землянки. Сон продолжался. К утру я не чувствовал ног. В землянке нашлись коптилка и кое-какое оборудование — кастрюли, в которых мы сварили себе пустые щи и отварили картошку. Завтрак был на славу.

Итак, меняя рубежи, мы обошли весь Ленинград. С Чернышева переулка пошли в Старую деревню, как раз рядом со Стрелкой Елагина острова. Оттуда на автобусах нас перебросили в Володарский район. С 16 сентября мы были в Московском районе (на Сызранской улице и около нового Дома Советов), по левую сторону Международного проспекта (ныне — Московский проспект. — Г. З.).

Сейчас нас привели к больнице Фореля в Кировском районе, то есть мы вышли к морю, но с другой стороны.

Какое-то время они стояли близ Стрелки Елагина острова... Чем это место было для Хотинского? Совсем недавно здесь он прощался с любимой: «Небо, излучавшее теплоту, было необычайно по краскам, и Асенька была золотой от неба и от любви».

Воспоминание об этой же ночи я прочла в письме Аси к матери Ростислава, написанном после известия о его гибели. «Какой это был вечер, незабываемый. На островах ни души, их закрыли в тот день и начали рыть траншеи. Небо, освещение сказочные, и мы, как в заколдованном царстве, в парке одни... Только вдали раздавался стук: долбили асфальт, рыли землю».

Читаешь письма, написанные почти полвека назад об одном и том же, — и словно протягивается нить, связующая то, что уже не соединить.

Теперь по соседству со Стрелкой Елагина острова вырос Приморский парк Победы. Мы его сами сажали в конце сороковых на бывшем пустыре. Деревца, которые мы, взяв за тонкие стволы, вкапывали в просеянную от мусора землю, — теперь тенисты. Когда наступает осень, на берегу залива, там, где летом пляж, проступает среди безлистных кустов угрюмый накат азота. Рядом надпись:

Прекрасна жизнь, и подвиг жизни вечен.
Бессмертье павших — в мужестве живых.

Здесь в дни блокады проходил рубеж
железной линии обороны.

...В два часа дня меня вызвали в штаб роты как записавшегося в разведчики. (Возвращаемся к дневнику М. Вашкевича. — Г. З.) Мы сдали винтовки, лопатки и пр. Пошли в штаб 8-го полка и по дороге дважды столкнулись с приключением: едва не зашли на минированное поле — от его тонких струн и крючков остановились буквально в трех шагах; при переходе через Варшавскую железную дорогу подверглись артобстрелу. Один из снарядов упал в 50—60 метрах от нас. Пришлось ложиться при звуке снаряда, а после его разрыва бежать, ожидая следующего.

К спанью не раздеваясь мы уже привыкли, к противогазу как к подушке — тоже. Все было бы ничего, лишь бы не холода. Не разувались мы уже больше недели, ноги натерли до рези. Не умывались три дня. Обросли бородами.

По дороге в разведывательный батальон, в караульном помещении штаба полка, а затем в бомбоубежище, я прочитал случайно найденную книжечку Лермонтова «Боярин Орша». Да, жестока судьба Сокола. Меня глубоко взволновали слова этой поэмы:

Ни на земле, ни в свете том
Нам не сойтись одним путем...
Разлуки первый грозный час
Стал веком, вечностью для нас.

Увижу ли я ЗК?

14 октября. Когда идешь от Нарвских ворот к больнице Фореля, то с каждым шагом все очевиднее приближение фронта. Все больше и больше попадает

зданий, изуродованных снарядами фашистских вандалов, все меньше и меньше мирных жителей. Дорогу в нескольких местах пересекают баррикады с бойницами для винтовок, пулеметов. Оборудованы дзоты и пр.

Оттуда, из сорок первого, вырвемся на миг в годы восьмидесятые. Ленинский проспект. Напротив высотной новостройки оставлен, как память, дзот, черный на фоне белых зданий, зелени. Он не молчит. В нем бывают дети, которые знают, что именно здесь проходила линия обороны. Они отыскивали даже трех ленинградок, которые строили этот самый дзот. Школьники из расположенной неподалеку 538-й ленинградской школы устроили в долговременной огневой точке своеобразную «заставу памяти». А в школьном музее у них хранится крыло сбитого самолета, множество документов о летчиках авиаполка, с которым они дружат. Дети записывают все больше военных судеб. Мне очень хочется, чтобы и в этой школе когда-нибудь прочли фронтовой дневник Михаила Вашкевича, написанный вот здесь, в этих самых местах, ставших осенью 1941-го полем битвы.

Сама больница Фореля имеет многочисленные следы разрывов снарядов и мин. Стены зданий в некоторых местах покрыты дырами от осколков, как оспой. Во дворе и на огородах, окружающих больницу, воронки от авиабомб, снарядов и небольшие выбоины от мин. Как-то совсем рядом со мной один из осколков попал по туго натянутой проволоке — раздался звук, как от разрыва гитарной струны.

27 октября. После полуторамесячного перерыва был на Красной. От Зорьки писем нет. Видимо, и она мои не получает. Неужели город находится в осаде? Погоревал я в пустой комнате немного, грустно как-то сделалось — особенно когда затопил печку (чтобы хоть немного прогреть стены), захотелось увидеть у стола всю свою семью.

Старушки-соседки живут плохо. У Ольги Ивановны при одной из бомбежек от сильного взрыва случился нервный паралич. С питанием у них кризис. В городе ничего не достать. Живут чаем и 200 граммами хлеба. Стараются меньше двигаться, чтобы сохранить энергию.

Был на работе, узнал ряд печальных новостей. (Здесь М. Вашкевич называет несколько фамилий со-

трудников «Союзпечати», погибших на фронте и в городе. — Г. З.)

Когда я уходил из дома, началась бомбардировка района проспекта Маклина и Пряжки. Стекла дребезжали от разрывов. Все население квартиры сгрудилось в передней: все почему-то считают это место менее опасным, а главное, оно ближе к выходу. На улице свистели снаряды и падали где-то вправо от мостика через канал. За Пряжкой полыхал пожар. У женщин, идущих мне навстречу со стороны пожара, на глазах слезы — видимо, только что видели что-то страшное.

29 октября. Сегодня впервые был на передовой линии, видел врагов, выпустил по ним первые пули.

...Вышли мы из расположения батальона в четыре часа утра. Идти надо было около десяти километров. Сначала по Кировскому парку, где нас беспрестанно останавливали часовые и спрашивали пропуск. Линия фронта встречала периодическими выстрелами орудий и минометов, «фейерверками» — трассирующими пулями и световыми ракетами. Все это было в стороне от нас, но тем не менее при каждой вспышке ракеты мы припадали к земле. Последнюю сотню метров к передовой «прошли» на четвереньках.

До света пришлось ждать около часу. Мы залезли в какую-то нору, вырытую в земляном валу. Разгоряченные и вспотевшие, быстро остыли и начали дрожать от холода и сырости. Я почти не чувствовал ног — одеревенели от неудобной позы и холода.

Линия нашей обороны довольно примитивна — земляной вал, в котором вырыты ячейки для стрельбы и устроены нары для сна. Сзади наших бойцов, в двух шагах от рва, — канава и ручей. Часть нар залита водой. Бойцы, грязные от копоти и дыма костров, глины, обросли бородами. Пулемет стоит прямо на глиняной куче — без всяких бойниц и блиндажей.

В 400—500 метрах — пулеметная точка и блиндажи фашистов. Простым глазом и в бинокль отчетливо видны фигуры разгуливающих солдат. Около девяти часов утра к блиндажам подошел высокий офицер в длинной, стального цвета шинели. Шел он с фасоном, перескакивая через канавы. Как только подошел к блиндажам, солдаты потянулись к пришедшему. Видя скопление фашистов, мы открыли огонь. Враги попрятались и открыли по нас минометный огонь. Большинство мин падало за нами метрах в пятнадцати, но три

мины упали в пяти-шести метрах. Мы залезли в норы и ячейки для стрельбы. В ответ на огонь фашистов наша артиллерия повела стрельбу по их передовым позициям. Мы с радостью отметили, как несколько наших снарядов ударили в башню и зеленый дом, расположенные в 500 метрах от нас и занятые врагами.

Целью разведки было — засечь огневые точки, что мы и сделали. В глубине позиции гитлеровцев мы наблюдали движение автомашин и мелких групп солдат.

Домой возвращались в сумерки. Сразу же за передним краем обороны в кустах увидели восемь трупов наших бойцов, лиц и одежды их почти не видно — полузанесены снегом. Возле них я нашел стальной шлем. Край шлема против правого виска пробит осколком — видимо, боец получил смертельную рану в висок. Я буду носить этот шлем и отомщу за смерть этого человека.

Полузанесенные снегом тела бойцов напомнили мне почему-то трупы французских солдат на батальных картинах войны 1812 года. Мое возвращение в больницу Фореля приветствовала Зорька — звездочка, высоко сверкавшая над головой. «Что делает Зорька в этот час?» — подумал я. Видимо, сидит за вечерним чаем, обсуждает события минувшего дня и строит с детьми планы на завтра. Вот бы мне появиться в дверях — с гранатами на поясе, винтовкой за плечами и шлемом убитого в руках...

31 октября. Я был во второй разведке. По приходе домой узнал, что в окопном журнале «Разведчик» помещено мое стихотворение «Городу Ленина». Кроме того, я написал ряд частушек, критикующих отдельных красноармейцев (по заданию редакции).

1 ноября. Сегодня к нам приехали шефы. На мое удивление, одна из гостей оказалась хорошо знакомой — это Валя Миронова (Алексеева), с которой мы работали в горотделе «Союзпечати». Поговорили об общих знакомых. Для шефов был устроен концерт самодеятельности. Валя восхищалась способностями наших бойцов и была поражена уровнем содержания и оформления окопного журнала. Еще бы! Журнал оформляли «академики», а стихи писал испытанный пиит. («Академиками» Вашкевич, вероятно, называет своих друзей-художников, причастных к Академии художеств. — Г. З.)

6 ноября. Ходил в разведку в третий раз. Прошли деревню Новую — все дома разрушены, от некоторых

остались одни трубы. За развороченными стенами — опрокинутые шкафы, разбитые зеркала, кровати, в грязь закатанное тряпье. Сколько слез и обобранных семей!

В лощине, ближе к передовой, следы недавних боев: остов сгоревшего самолета, гусеницы подбитого танка, неразорвавшийся снаряд, убитая лошадь, десятки воронок от разрывов снарядов и мин.

Последние 150 метров шли по ходу сообщения. Следуя заданию, весь день вели наблюдение за движением групп противника между деревнями Ново- и Старо-Паново, а также по траншеям их передовой линии. Все это нужно, чтобы не быть застигнутыми врасплох, предвидеть, что затевает враг. Фашисты ходят по окопам в касках, уже покрытых белой краской или прикрытых белыми платками. Стрелять из простой винтовки далеко — 700 метров, мы стреляли из винтовки снайпера — с оптическим прицелом.

В ночь на седьмое батальон вышел на передовую, для усиления стоящих там частей.

10 ноября. Возвращаясь с передовой, да и находясь там, непрерывно подвергались минометному и артобстрелу, но настолько привыкли к завыванию мин и звуку снарядов, что перестали обращать на них внимание, как будто они не несут смерти и увечий, а просто дополняют местный пейзаж и являются неизбежными слагаемыми в гамме местных звуков.

13 ноября. Прочитал две вещицы Алексея Толстого: «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлиту», получил от этого большущее удовольствие. Жаль, что сейчас мы не имеем такого оружия, как гиперболоид, а то солидно поджарили бы фашистов и в два счета закончили бы эту жестокую войну. Любовь Лося к Аэлите несколько напомнила мне и мои чувства, и так же, как покинутая Аэлита тщетно взывает в мировое пространство: «Сын Неба, где ты?» — так и я пока без ответа мысленно спрашиваю себя: «Где ЗК, что с ребятами? Когда мы встретимся в этом мире и встретимся ли вообще?..»

15 ноября. Вчера в четыре часа утра мы ходили в разведку, готовясь к одной серьезной операции. Над Ленинградом в нескольких местах как горящие факелы висели без движения осветительные ракеты нового типа, которые я лично видел в первый раз. Они, наверное, прикрепляются к небольшим парашютам, так как остаются неподвижными в воздухе очень долгое вре-

мя, не садятся на землю и не уходят в стороны. В чем секрет их неподвижности, мне пока неизвестно, постараюсь узнать.

Гудели самолеты, слышались канонада зениток и глухие разрывы. Видно, городу крепко досталось в эту ночь. На передовой мы наблюдали движение противника по дороге между деревнями Ново-Паново и Старо-Паново (одиночные машины, группы солдат, мотоциклисты).

В близлежащих окопах противника изредка мелькали каски расхаживающих немцев. Они перебежали из траншеи в траншею. По ним я выпустил несколько пуль из снайперской винтовки. Интересно, что при стрельбе не чувствуешь никаких сентиментальных переживаний: стреляешь, как в тире по неживым целям. В этот день фашисты дважды обстреливали нас из минометов. Оба раза нам приходилось лезть в землю: летели осколки, мерзлая глина, нас обдавало дымом и воздушной волной разрыва. В ушах — будто пробки, так их заложило. Целый день свистели пули. Был ранен наш сапер Николаев. Пуля попала в левую сторону шеи и вышла в правую щеку (сквозное ранение). Мы его несли на носилках. Когда остановились на отдых у большого дома (у дороги к больнице Фореля), из темноты вынырнули двое детей — девочка лет десяти и мальчик четырех-пяти лет. Мальчик был без шапки и плакал. Девочка предлагала ему лезть в зияющее чернотой окно полуразрушенного дома, он боялся лезть, да и не влезть ему без помощи — высота около полутора метров. Мы удивились: куда же он пойдет в разрушенном доме? Девочка настаивала на своем. Тогда один из бойцов поднял мальчика на подоконник и помог ему слезть в темноту. Плач мальчика продолжался: он бродил в темноте минуты три, пока не послышался голос матери. Плач утих. И в этом разрушенном доме живут люди... Голодная мать и дети!

Во втором часу ночи на 19 ноября лейтенант Соколовский сказал мне: «Пойдемте со мной!» Подходя к КП, мы слышали свист мины. Разрыв впереди, чуть в сторону от дороги. Решили идти по левому краю дороги. Только сошли с нее — засвистали вторая, третья мины. Разрывы быстро приближались. Не успели мы укрыться, как нас оглушило взрывной волной, зажужжали осколки. Бегом мы достигли небольшого сарайчика и тут же упали: приближалось шипенье новых мин. Последовало не менее тридцати разрывов — один



Разведчики.

за другим, на дороге. Наше укрытие колыхалось от взрывов. Казалось, сарайчик вот-вот улетит. Мы лежали за сараем, уткнув носы в землю, и на слух определяли направление разлетающихся осколков. Фашист долго не стреляет: после порции в сорок — пятьдесят мин обычно наступает тишина.

За сараем большой полуразрушенный дом. Когда проходили у стенки дома, услышали шорох. Решили проверить, кто там. Вошли в сени, спросили. Нам ответил женский голос. Пожилая женщина вынесла помой.

— А вы не боитесь здесь жить?

Она ответила вопросом:

— А вы не боитесь?

Сообща согласились, что все — и мы, и она — уже привыкли.

— Все равно, где помирать, лучше уж у своего родного очага, — сказала женщина.

Выйдя на дорогу, мы убедились, что были на волосок от смерти: в тридцати шагах от нас началась сплошная вереница воронок. Снег у дороги и сама дорога чернели копотью. Воздух был пропитан смрадом только что сгоревшего пороха. Не свернули бы с дороги — была бы нам крышка.

Ночь на 19 ноября.

— Борисов, а где же люди?

— Что ж ты, не видишь, да вот, в десяти шагах идут за нами...

Такой разговор произошел между командиром и комиссаром нашего батальона. Командир был прав: в восьми — десяти шагах за нами бесшумно двигались бойцы в белых халатах. Словно привидения... Мы шли на передовую выполнять ответственное задание. Беспрепятственно взлетали в воздух осветительные ракеты противника. Изредка звякали пули. Но вот и передний край нашей обороны. Зияющие пасти землянок, блиндажей. Бойницы, ходы сообщений, укрытия.

Нас встретил командир роты, повел в расположение части.

Землянки маленькие, тесные, освещение — копилки, везде душно, накурено, а ноги сковывает холод: нет хороших дверей, тепло не держится, железные печечки дают радость тепла на полчаса, максимум на час.

Тут же у траншей лежат убитые. Не верится, что эти люди только что жили, двигались, смеялись. Еще более не хочется верить, что такими же можем быть завтра и мы. Показать бы эти трупы тем, кто сегодня еще не понял всей жестокости войны, кто не осознал смертельной опасности для нашей Родины, кто еще живет не фронтом, а своими мелочными интересами одиночки-обывателя!

Помогая работникам штаба, я на этих днях писал извещения родным об убитых и пропавших без вести. До нашего прихода батальон трижды ходил на выполнение боевых задач и имел большой урон людского состава. Человек двенадцать были награждены орденами и медалями СССР.

В руках у меня пачка писем. «Родной наш, милый папулька, почему ты не пишешь? Мы все о тебе беспокоимся, не знаем, где ты, что с тобой...» Папулька больше не напишет. «Верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит на подступах к городу Ленина...» Жены и дети ждут весточки. Идут беспокойные письма, пишут командиру батальона: «Умоляю, напишите, что с ним, пусть самое страшное, но хотя бы знать...» У одного из убитых четверо детей, и фамилия вдовы — Одинокова.

Страна переживает большое горе, которое складывается из тысяч и миллионов несчастий и переживаний отдельных людей. Вопрос стоит о жизни и смерти

Советской власти, о жизни и смерти государства. Возможно, что и я, свернувшись комочком, застыну в смертельной агонии, и мои дети, и моя жена получат такое же извещение. Смерти я не боюсь, только бы не погибнуть бестолково.

...Три партии разведчиков перелезли через бруствер, и вскоре их халаты слились со снегом. Поползли к фашистам — громить огневые точки, выявлять силу оборонительной линии врага. Тишина. Взлетают ракеты, описав дугу, падают, догорая на снегу.

Мы притаились, ждем, когда снова наступит тьма. Вторая ракета, третья. Я поставлен следить за движением групп и докладывать командиру батальона. Стоять очень холодно, мороз до пятнадцати градусов. Сапоги стучат, как чугунные, руки не держат винтовку. Медленно тянется время. Темно. Время от времени бьют короткие очереди немецких автоматов. Слева вспыхнул огонь, что-то загорелось. Застрекотали автоматы и пулеметы противника. Взвилась сразу целая пачка ракет. Через минуту завизжала мина, вторая, третья... Минут пять стоял грохот, жужжали пули, осколки мин. И снова тишина. Пламя погасло. Справа застучал автомат, перестал, снова застучал, но более настойчиво.

Через полтора-два часа мокрые от пота, усталые и грязные лазутчики приползли обратно.

20 ноября. Сегодняшний день жизни нашего батальона омрачился гибелью трех разведчиков. Так же, как мы вчера, сегодня пошли новые две группы с той же задачей: выявить огневые точки врага, разведать его оборонительную линию, нанести возможный урон, если удастся — захватить «языка». Но в этом месте — почти с берега Финского залива — подход к врагу очень труден. Снова заговорили пулеметы и минометы. Выполнить задачу не удалось. Убиты: сержант Метеля, веселый двадцатидвухлетний юноша, украинец, певун, очень энергичный и подвижный; Сугаков-Касановец, награжденный орденом Красного Знамени, немного суровый, но хороший товарищ, и Вырыпаев — этого я знаю слабо. Сугаков на одном из собраний говорил о том, что фашисты убили его брата, ранили жену, убили дядю, — клялся отомстить. Ребята говорят, что умер он в страшных мучениях — тяжело раненный, он загорелся: одна из пуль попала в бутылку с горючим, которая была у него в кармане. Вспыхнул факелом...

Помочь не было возможности — не поднять головы. Да и этот огонь не потушить!

Днем я был в «Союзпечати». Там узнал еще ряд печальных новостей. Две бомбы попали в Почтамт. В городе — голод. Дают по 125 граммов хлеба. Мария Васильевна Демина спросила меня, нет ли в кармане хлеба или сухаря. «Пухну, — говорит, — от недоедания». У нее дочь больная и внучка. Свой и без того скудный паек старается передать им, а сама действительно плоха.

Печален и Ленинград. Лица у всех бледные.

Большие разрушения на улице Гоголя. Многие граждане носят в петлицах круглые плоские стекляшки лимонного цвета — так называемые «светлячки» — светятся в темноте (наверное, фосфорные).

Обратный путь от Нарвских ворот я прошел под обстрелом — то слева, то справа рвались снаряды.

Наша действительность непрерывно овеивается дыханием смерти. Сегодня, например, я узнал о гибели сапера Николаева. Больше всего мне жаль нашего боевого разведчика Метелю. За неделю до его смерти я был в его группе на передовой. Любовался Метелей, думал: этот человек далеко пойдет, будет со временем боевой командир. Глядя на его бравый вид, карие живые глаза, румяные щеки, лицо, дышащее молодостью, трудно было предположить, что через несколько дней его не будет в живых.

Разведка боем

28 ноября. В ночь на 28-е наш батальон проводил крупную ночную операцию — разведку боем. Район разведки — Финский залив, бухта у завода пишущих машинок.

План разведки: основному ядру завязать бой с противником, а выделенной группе захвата зайти с фланга, подобраться к фашистским окопам и, воспользовавшись суматохой, взять «языка». Если выделенная группа подвергнется обстрелу противника, ядро должно поддержать группу пулеметным огнем, отвлекая противника и обеспечивая отход группы.

Я выявил желание идти с группой захвата (пленного). Командиром группы был мой товарищ по партизанским отрядам и 8-му полку, замечательный парень художник Хотинский.



Разведка боем.

Облачившись в белые халаты, которые придали нам вид бедуинов, мы, вытянувшись в линейку, пошли к угольному порту. Километра два шли вдоль железнодорожной ветки угольного порта, минуя вереницу подъемных кранов, элинг Северной верфи, корабли. Ближе к концу портового мола свернули налево и спустились на лед Финского залива.

Родная Балтика! Как ни отделяет меня судьба от моря — даже в пешем строю мне приходится воевать на водах Балтийского моря. Идя по льду, обходя полыньи, а в некоторых местах ступая прямо по воде, я вспоминал флот. В глубоком молчании, под вой и свист ветра (между прочим, такой вой часто изображают в кино) наш отряд двигался к бухте.

Через два-три километра мы стали подходить к небольшому островку, сплошь заросшему гигантским, в 1,5—2 метра, камышом.

Слушая шум камыша, я вспомнил, как в далеком детстве мы любили декламировать какое-то стихотворение, в котором есть слова «шуршат камыши». Мои старания восстановить в памяти хотя бы первую строчку этого стихотворения не привели ни к чему.

В камышах должно было остаться основное наше звено — группа поддержки. Зарядив гранаты (у каждого по четыре), двенадцать бойцов группы Хотинского тронулись дальше, вдоль берега (на расстоянии

200—300 метров от него). Шагов двести шли спокойно. Затем начался ракетный «дождь». Наш подход к противнику (а нас было около 60 человек) был, видимо, замечен, и, опасаясь внезапного нападения, фашисты начали освещать берег залива. Осветительные ракеты буквально не давали нам идти: только подынешься, сделаешь несколько шагов в темноте, смотришь — взлетает новая ракета, освещая залив. Все моментально падают на снег, стараясь как можно плотнее прижаться ко льду, лицом вниз, винтовкой и сапогами в сторону от берега. Иногда ракеты не давали нам вставать по несколько минут.

В некоторых местах под легким покровом снега была вода, а подчас большие проталины с месивом из воды и снега. Но выбирать сухих мест не приходилось. Для ползанья в воде мы были хорошо одеты: на ногах — высокие охотничьи сапоги с ботфортами и ремешками, под халатом вместо шинели или телогрейки — овчинный полушубок! На голове — шапка-ушанка, на руках — вязаные перчатки, а поверх них — меховые рукавички (белый кролик), теплые-претеплые! Это снаряжение в батальоне держат специально для ночных операций.

В километре от камышей нам пришлось идти неподалеку от минометной батареи противника: на нас сыпался десяток мин, но они с визгом пронеслись над нами и разорвались дальше на льду залива.

Через километр мы легли на лед и дальше продвигались ползком. Я полз то боком, то на четвереньках, то по-пластунски, на животе. В невысоких кустиках тростника за 150 метров до проволочного ограждения противника мы оставили двух бойцов с волокушей, так как тащить ее дальше уже было невозможно, а сами медленно приближались к неприятельским окопам. Весь камыш перед нами был срезан, на тростниковой отаве намерзли ледяные пластинки, которые при первом прикосновении с хрустом продавливались. Хруст стоял невероятный! Наше счастье еще, что ветер дул с берега, — пока что фашисты нас не слышали.

Чем дальше мы продвигались, тем чаще припадали к земле и прислушивались к тишине ночи. До окопов неприятеля оставалось не больше пятидесяти метров. Но проклятый хруст выдал нас: справа и слева почти одновременно взлетели две ракеты. Слева — понятно (там окопы), но почему же справа? Кто же бродит по

заливу? Мы решили, что это ракетчик-одиночка. Надо было подползти к нему и взять живым. Только мы повернули вправо, как новая пара ракет взлетела в воздух. Затем последовала их целая серия, причем некоторые падали между нами, ярко освещая нас. Свет слепил: погаснет ракета — и в глазах черно!

Мы переждали немного и вновь зашевелились, намереваясь двигаться вправо. Тут прямо перед нами метрах в сорока застрочил пулемет. Трассирующие пули с визгом пролетали над нашими головами. Еще новость! Новая пулеметная точка на льду, а мы ее не ожидали! За первой очередью последовала вторая, третья... Пулеметный огонь перед нами был поддержан огнем слева, тут же посыпался град ракет прямо на нашу ледяную площадку между камышами. Ни живы ни мертвы, мы срослись со льдом, пули свистели над нами. Я лежал, прижавшись левой щекой ко льду, вытянув руки и ноги. В правой руке — винтовка, в левой — кусачки (перерезать проволочные заграждения противника).

Пляска смерти продолжалась почти два часа. Когда ракеты падали между нами, приходилось откатываться в сторону, чтобы не сгореть живьем. Переждав пулеметно-ракетную грозу, мы решили отходить. Подобраться к окопам на бросок гранаты под хруст льда и снега совершенно невозможно. Ракетчик справа оказался под охраной пулеметной точки, идея взять его живым отпадала. Даже если бы мы и подползли еще на двадцать метров и бросили гранаты — уничтожение пулеметной точки стоило бы жизни всей нашей группе. А о том, чтобы перерезать проволоку и проникнуть в окопы противника, не могло быть и речи. Итак, решение отойти, избегая ненужных потерь, было правильное. Ползком, а где на четвереньках мы начали выходить из зоны обстрела. Фашисты несколько раз возобновляли стрельбу, но пули уже летели стороной. Подобрав двоих товарищей с волокушей, мы пошли быстрее.

Подходя к камышовому острову, мы надеялись встретить своих и пожурить их за отсутствие поддержки. Но камыши оказались пустыми. Обойдя остров, наш дозор доложил, что никого нет. Мы двинулись дальше. В одном из домиков угольного порта нашли свою санчасть. Оказывается, за время нашего отсутствия у острова камышей разыгралась целая драма. Наше основное ядро вступило в бой с противником, но,

встреченное жестоким пулеметным огнем, вынуждено было отойти, оставив на поле боя шестнадцать человек убитыми. Шесть раненых были вытащены санитарями нашей части. Фашисты, видимо, ничего не знали о нашей группе — иначе они могли бы устроить нам встречу.

Среди погибших были чудесный парень Селянкин — секретарь комсомольской организации, умница Уманский и другие хорошие товарищи.

...Разведка, описанная Михаилом Федоровичем Вашкевичем в ночь после возвращения, дает представление о пережитом им лично. Мы слышим и хруст льда, и шелест камышей, и свист пуль над головой. Здесь чувствуется достоверность только что пережитой близости к смерти: любая просвистевшая пуля могла быть последней, и не были бы написаны строки, вобравшие эту достоверность.

Северная верфь, угольный порт — места, за которые далеко, далеко шагнул теперь Ленинград. Но и тогда — бои шли на его окраинах, самых ближних.

Еще одно примечание к этой записи. В своем дневнике Михаил Федорович Вашкевич отметил: «Узнал, что в окопном журнале «Разведчик» комбат написал обо мне заметку, а художник нарисовал мой портрет. Все это зря — никаких заслуг у меня пока нет». Откроем, однако, вновь книгу «Подвиг века». На странице 205 запечатлена картинка фронтового быта:

«Группа разведчиков готовится к операции. Проверяют и смазывают оружие. Один из бойцов обращается к Абу:

— Павлуша, а когда ты меня нарисуешь для журнала?

Павел Ефимович смотрит на бойца и раздумчиво говорит:

— А вот пойдешь в операцию, и посмотрим, стоишь ли ты того, чтобы тебя рисовать.

Солдаты прислушиваются к диалогу, и каждый думает про себя, что он-то, конечно, заслужит делом, чтобы его портрет поместили в окопном журнале.

— Очень дорожили бойцы честью быть нарисованными, — вспоминает Павел Ефимович».

Окопные журналы — свидетельство духовной жизни на войне — были во многих подразделениях. Они и сейчас хранятся у ветеранов Великой Отечественной.

«Теперь бы я начал писать!..»

3 декабря. Начался последний месяц тяжелого для нашей страны 1941 года. На Ростовском фронте несколько дней тому назад наши войска нанесли удар по фашистской армии, в результате захватили Ростов. А теперь снова тихо. Позавчера отдали Тихвин, и кольцо вокруг города Ленина сжимается. С продовольствием стало много хуже. Я непрерывно ощущаю потребность в пище. Часто пустые щи или пять ложек каши, которые мы получаем три раза в день, не оставляют в желудке никаких ощущений.

Духом мы не падаем, хотя чувствуем большую слабость: истощение организма на почве постоянного недоедания дает себя знать.

4 декабря. Жестокая статистика войны продолжается. Сегодня из ночной разведки наши бойцы привезли изуродованный труп красноармейца Шамова. Подползая к окопам противника, он подорвался на mine, затем был зажжен зажигательной пулей. Страшно подумать, что завтра-послезавтра и ты можешь быть на месте этого товарища!

Пришло извещение, что раненый боец Векшин умер в госпитале во время операции. Еще одна жертва!

Вечером противник обстреливал наш район. Много снарядов и мин упали и к нам во двор, перебили электропроводку, потух свет.

6 декабря. Сегодня на наблюдательном посту в первой стрелковой роте 8-го стрелкового полка ранен мой приятель — художник Михаил Абрамов, с которым мы не один час провели в беседах об искусстве, о путешествиях и других интересующих нас вопросах. Раны как будто не опасные — два мелких осколка мины в ногу, третий в живот (но легко). Абрамов отправлен в госпиталь. Обстановка ранения такова: немцы поставили дымовую завесу, под прикрытием которой перебросили танки с одного места в другое. А наши бойцы, опасаясь танковой атаки, вылезли из укрытий, заняли стрелковые ячейки. В это время противник открыл сильный минометный огонь по переднему краю нашей обороны, в результате чего был убит командир первой стрелковой роты и ранены несколько бойцов, в том числе и Абрамов.

13 декабря. Радио принесло радостную весть: под Москвой разгромлено много дивизий врага, полностью сорвано наступление фашистов на нашу столицу. Нем-

цы с большими потерями отходят на всех участках фронта под Москвой. Нашими частями занято девять городов. Подкова вражеских войск вокруг Москвы разогнута.

Вчера был в Ленинграде, где по-прежнему туго с продовольствием, жутко из-за снарядов, которые со свистом падают на улицы и дома. Видел грустные похороны без гроба — со слезами на глазах родители везли на кладбище на детских саночках, видимо, ребенка, завернутого в одеяло. Что это — жертва бомбардировки или голода?

Лица многих жителей отекли от недоедания, почернели и осунулись. Грустно смотреть на людей: женщины одеты неряшливо, мужчин встретишь очень мало. Трамвай стоит, бывают большие перебои со светом...

Тихвинская победа нас, ленинградцев, здорово воодушевила, так как это крупный железнодорожный узел на Северной дороге, очистка которой от противника даст Ленинграду подкрепление, боеприпасы, продовольствие. Кроме того, восстановится связь с эвакуированными семьями. Скоро три месяца, как я не имею сведений о Зое.

Дома был несколько часов. В комнате адский холод, снег между рамами. Наколот дров, растопил печь, согрел немного комнату, вымылся сам, организовал ванну для пришедшего со мной лейтенанта Аверина. Старушки были рады нашему приходу. Дважды ставили самовар, дважды пили в моей комнате пустой чай (ели два сухаря и 150 граммов хлеба на четверых). Утешив и подбодрив старушек, мы пошли обратно (пешком до больницы Фореля, т. е. примерно около десяти километров). По дороге слышали вой снарядов, падавших в районе прилегающих улиц.

15 декабря. Только что получил открытку из Нерехты. Пишет Маечка. Молодец, дочка! Порадовала отца. Разрыв в переписке сократился с 82 до 30 дней.

16 декабря. Сегодня погибли два моих товарища из нашей разведгруппы сержанта Хотинского — Володя Пермиловский и Сидоров. Володя был душой нашей группы. Получаемые мной папиросы я отдавал ему. Вообще здесь мы относимся друг к другу по-семейному, а Володю любили все. Он был секретарем нашей парторганизации.

23 декабря. Кончается 1941 год. Исполняется четыре месяца моего пребывания в действующей армии. Какие выводы я могу сделать? Народ в массе своей настроен весьма патриотично. Люди ненавидят Гитлера, фашизм, готовы бороться с иноземными захватчиками до победного конца, готовы жертвовать собой, и многие бойцы и командиры даже в рядовой работе совершают героические дела, не отмечаемые никакими наградами и не попадающие в печать.

Командный состав ведет за собой бойцов, командиры показывают примеры героизма, пользуются авторитетом среди бойцов и доверием. Но вот среди штабистов есть начальники, которые своими непродуманными заданиями подчас напрасно жертвуют людьми, заставляют командиров-фронтовиков лезть на рожон, беспрекословно выполнять состряпанные ими, подчас заведомо невыполнимые, а главное, плохо подготовленные и грубо разработанные планы. Так, к сожалению, было и в нашем батальоне, когда неоднократно нас посылали в слабо подготовленные «разведки боем», в результате мы теряли по 21, 27 бойцов и командиров за один раз.

Еще в большей степени нужна культура, общая грамотность нашим бойцам. От бескультурья (а оно у нас еще колоссальное) происходит много несчастий. Выпил антифриз из автомашины — и помер, почернел от грязи — заболел, не изучил гранату — хлоп себя и товарищей. Понадобились дрова — ломай шкаф, стул, изгородь, что поближе стоит. Попалась книга — вместо того чтобы прочесть ее, сжигают и т. д. Много еще надо пятилеток, чтобы поднять всю массу населения хотя бы на уровень средней грамотности. Да и не в грамотности только дело. Дело и в воспитании. У нас и грамотные люди, читали кое-что, рассуждать умеют. А что делают! К сожалению, война — плохой учитель в этом отношении. Кругом разрушения. Я по мере сил «сею разумное, доброе, вечное», но потуги таких, как я, — капли в океане. Нужно, чтобы все политруководители занялись бы этим серьезно.

Тяжелый 1941 год подходит к концу. Грядет новый, 1942 год — год победы и радостей для нашей Родины и нашего народа. Хорошо бы дожить до этих счастливых дней, вернуться в свою семью и с головой погрузиться в литературу. Теперь бы я начал писать — определенно!

В музее города Кронштадта хранится рукопись Михаила Вашкевича, краснофлотца, совершившего на корабле «Комсомолец» рейс вокруг Северной Европы. Это был второй поход советских военных судов (шли вместе «Аврора» и «Комсомолец»), и он, как и первый, стал по-настоящему агитационным, ибо люди западных стран увидели советских моряков — доброжелательных, подтянутых, корректных. Кто-то готовил граждан к встрече с варварами, а тут — совсем иное впечатление. В семейных преданиях Вашкевичей один эпизод плавания сохранился таким. К сидящим в парке советским морякам подошла интеллигентная пожилая пара. Спросили, куда и откуда направляются русские корабли. Один из краснофлотцев с готовностью не только рассказал о своем рейсе, но начертил на песчаной дорожке весь план похода. Горожане были в восторге: «Простой матрос так образован!» Как определить — был ли простым матросом тогда Михаил Вашкевич? Конечно был. Но был и военкором, был человеком, для которого самообразование стало правилом жизни, в любых условиях, всегда и везде. Жил трудно, работал много, сам о себе знал: надо все запомнить, чтобы — писать.

Балтику Вашкевич любил преданно, в душе остался моряком навсегда. Прощаясь с друзьями-военкорами, с которыми вместе просиживал ночи над выпуском всевозможных газет — стеновых, световых, «живгазет», — написал в корабельную «стенновку»: «Когда-нибудь сотни новых ночей просижу, не жалея... Большим упорным трудом, со слезами радости на глазах напишу хорошую, правдивую повесть о флоте, о старых друзьях».

Он не успел написать книгу о флоте. Война вошла в его жизнь и в судьбу его народа. Участвуя в войне, он твердо знал, что обязан написать книгу о мужестве, страданиях и победе.

Запечатлеть в бессмертном мраморе

В январе 1942 года Михаил Вашкевич сделал в своем дневнике всего лишь одну запись. Это его впечатления от похода в Ленинград. Сегодня они могут показаться общеизвестными: все мы очень хорошо знаем рассказы о блокаде. Но ведь это — запись очевидца, сделанная именно тогда, и от этого она приобретает ценность документа.

27 января 1942 года. Разбужен был сегодня дребезжанием стекол — наша дальнобойная батарея, расположенная в километре позади нас, выковыривала фашистов из теплых землянок на тридцатиградусный мороз.

Пишу после недолгого перерыва — больше месяца. Возобновляю свои записи. Пишу при свете коптилки, резервуар — флакон из-под одеколona, горючее — соляровое масло, фитиль — кусок бинта, вместо стекла — огрызок пробирки, укрепленный над небольшим язычком пламени вертикально, на двух скрепах из жести.

Вчера был в Ленинграде. Мне рассказали, что педагог-историк, падая от истощения на одной из улиц, сказал окружившим его гражданам: «Вы знаете, в каком городе живете? Это — Илион!» Да, воспетая Гомером Троя, запечатленная Львом Толстым славная защита Севастополя в 1854—1855 годах — такого уровня события сегодня переживает Ленинград. Город-герой! Никогда не были враги русского народа на твоих широких площадях и проспектах! Никогда они здесь и не будут!

Около пяти месяцев длится уже осада. Город в кольце блокады. Кругом — люди с винтовками, непрерывно гремит канонада, каждый час, каждая минута уносят жизни лучших людей нашей Родины на фронте и в тылу.

Целый день я ходил по городу. Громады домов во многих местах зияют пустыми амбразурами окон, провалами в несколько этажей подряд, дырами, пробитыми снарядами. Некоторые дома выглядят рябыми от бесчисленного количества дырок, выбитых осколками снарядов и мин.

Кажется, все это нам известно по многим воспоминаниям о блокаде. И все-таки вот деталь, которая не может стать привычной, сколько бы о ней ни писалось.

Над Невским каждые две-три минуты слышится визг пролетающего снаряда и через две-три секунды его разрыв где-то около Марсова поля.

По ночам город освещается заревом пожаров. Разрушения имеются почти на каждой улице города. Троллейбусы застыли на остановках, покрылись инеем, некоторые врылись в землю, подбитые осколками вражеских снарядов.

Квартиры граждан освещаются фонарями, коптилками и другими светильниками разных конструкций. Витрины магазинов выбиты. Кругом хаос: битое стекло, куски льда, разбитые вещи, обгорелые балки. Остекленных окон очень мало, большинство их защиты целевкой или фанерой.

...На углу Невского и Садовой, как раз против входа в «Пассаж», толпа женщин с кувшинами, ведрами, бадейками: из выведенной на поверхность трубы бьет вода. Каждый старается захватить целительную влагу, да побольше, чтобы не ходить за ней каждый день. Такие сцены, толкучки я видел в детстве, когда вместе с другими ребятами мы лезли в Одигитриевской церкви за святой водой.

Закрываются фотографии, Главпочтамт, не работает телефон. В почтовых отделениях — залежи корреспонденции.

Во все концы города тащат мертвецов. Большинство умерших завернуты в одеяла и привязаны к детским саночкам. Некоторые защиты как посылки. В городе голод, ежедневно от недоедания умирают тысячи людей.

В «Союзпечати» умерли восемь работников, и среди них один из ближайших моих друзей Виктор Петров... В комнатах «Союзпечати» пусто и темно. Лишь в кабинете директора прилипли к печке пять женщин и обросший бородой Шорохов. Все они осунулись. Рабочий график сломан временем. Люди работают по возможности, но не больше трех-четырёх часов в день... Деятельность, конечно, ограничена, так как большинство почтовых отделений не работает совсем, типография печатает вручную лишь небольшое количество двухполосных газет, рассылая их по одному экземпляру в крупные организации. Окно ТАСС на Невском проспекте сообщает о событиях пятидневной давности (26 января вывешены сведения лишь за 21-е).

Когда я шел по улицам, вглядывался в лица людей. Обращал внимание на их одежду. Все модницы исчезли. Если и идет какая-либо девушка, одетая, скажем, в рижское пальто, — нос у нее в саже и глаза опухли. На ногах у людей войлочные чуни, у некоторых — просто тряпки, галоши без ботинок, самодельные туфли, бурки из строченого сукна.

Больше всего печалят лица людей. Вот идет девушка лет шестнадцати, под руку с матерью. Кто из них

старше — сказать нельзя. Лица вытянуты, губы сжаты, глаза в мешочках опухли.

Возвращаясь, я наблюдал такую сцену: у решетки, когда-то снятой от Зимнего дворца, за Кировским райсоветом, упал человек. Его котомка свалилась на землю. Поднимался он медленно, я решил, что это глубокий старик. Когда подошел к нему с другой стороны улицы, он все еще стоял на одном колене, беспомощно пытаюсь встать. Я помог ему и с горечью убедился, что человек этот моложе меня лет на десять — двенадцать. Оказалось — рабочий Кировского завода, идет с одеялом, чтобы работать, не уходя из цеха, так как ходить домой сил нет. Кроме хлеба один раз в день он получает жидкую пшеничную баланду. С завода каждый день выходят отремонтированные танки. Это совершают люди, умирающие от истощения у своих станков.

Больше всего мне жаль детей. Теперь не слышно их крика, плача, смеха, не видно их играющими или бегущими. Дети двигаются, как тени, серьезные, тихие, печальные. У многих мешки под глазами, как у стариков, большинство носов — чумазы от копоти и отсутствия мыла.

Кладбища не успевают принимать мертвецов. Сотни трупов лежат неубранными. Специальные команды роют братские могилы, закапывают трупы в щели, вырытые на случай бомбардировок.

После этой записи своего похода в блокадный город Михаил Вашкевич около месяца, видимо, не доставал свою тетрадь: записи возобновляются с 20 февраля. Может быть, это было связано с большим для него горем: погиб командир разведчиков Ростислав Хотинский. Наверное, в это время, вспоминая все, что помнил о нем, Вашкевич написал для окопного журнала очерк о друге. Привожу его полностью.

СЕРЖАНТ ХОТИНСКИЙ

С Ростиславом Юрьевичем Хотинским я познакомился в тире Куйбышевского райсовета Осоавиахима. В снежно-белой футболке, с засученными рукавами, загорелый и веселый, он производил впечатление ловкого физкультурника. В тире мы стреляли из наганов и пистолетов «ТТ» — готовились к боям с фашистами, которые в те августовские дни все ближе подходили к нашему родному городу.

После этого я ежедневно встречал Ростислава в военном отделе Куйбышевского райкома ВКП(б), где командир партизанского отряда Хотинский со свойственным ему энтузиазмом тре-

бывал помощи райкома в скорейшей переброске своей группы в тыл врага. Заведующий военным отделом Зайцев говорил: «Вы, художники, народ горячий, но надо учитывать обстановку...»

А обстановка диктовала уже другую задачу: немцы подходили к предместьям города, и каждый, кто способен был в Ленинграде носить оружие, обязан был выйти и в открытом бою защищать своей грудью колыбель революции! Окраины города опоясались баррикадами. Круглые сутки без сна и отдыха рабочие, служащие, домохозяйки, старики и дети копали землю, носили бревна, камни, железный лом, каждый переулочек превращали в бастион, каждый дом — в крепость.

Утром 1 сентября 1941 года добровольцы-партизаны Куйбышевского и других районов Ленинграда стали бойцами Н-ского стрелкового полка войск НКВД.

Председатель горкома художников Ленинграда скульптор Хотинский занял скромное место командира отделения. Многие, знавшие Хотинского, хотели быть в его отделении, но он мог записать лишь десять человек. В эту десятку попал и я и с того дня был постоянным его спутником.

Четыре недели наше подразделение находилось на рубежах обороны под Ленинградом. Мы вынули сотни кубометров земли: рыли окопы, ходы сообщений, строили дзоты и блиндажи. Ясный ум и художественные способности Хотинского ярко проявились в этой работе: военные инженеры соглашались с его доводами, восхищались его изобретательностью, предоставляя ему полную самостоятельность в руководстве сооружением укреплений. Он был не только прорабом на этих стройках, но и самым старательным исполнителем своих планов: первым брался за лом и лопату. А когда выбивался из сил, то садился на свежевырытую землю — шутил, смеялся, пел вполголоса, подбивая и нас на песню. Его любили все бойцы, слушать его всегда было интересно: знал много песен, арий, стихов, любил музыку, был спортсменом.

После месячного пребывания в обороне, без боев с врагом, Хотинский затосковал — в нем заговорило сердце бывшего бойца одного из лыжных батальонов. Выход пришел сам собой: в нашем подразделении началась запись добровольцев в дивизионную разведку. Сержант Хотинский, а с ним и больше половины бойцов его отделения ушли в разведбатальон.

Разведгруппа, возглавляемая Хотинским, считалась одной из лучших в батальоне. Помощник командира взвода Клявин, сержанты Кузнецов и Сидоров, замполитрука Ермаков были в ней рядовыми разведчиками. Ее бойцами были также Володя Пермиловский, секретарь батальонной партийной организации, премник последнего рабочий Коротков, электротехник Мещеряков, студент Химико-технологического института Марк Гейликман, художники Павел Аб и Михаил Абрамов, инженер Гореленков и другие.

Более 40 раз ходил Хотинский со своей группой в боевые разведки: выявил и нанес на карту много огневых точек врага, распространил в траншеях противника тысячи листовок, открыл собственный счет уничтоженных фашистов.

В ночь на 28 января 1942 года группа Хотинского выполняла очередное боевое задание по разведке. Разведчики по-пластунски подползли к линии вражеской обороны, проделали проходы в проволочном заграждении противника, бесшумно сняли часового, проникли в немецкие траншеи, противотанковыми гранатами взорвали две землянки с фашистами — искали «языка».

Разбуженные взрывами гранат враги подняли боевую тревогу. Необходимо было отходить. Сержант Хотинский вытащил из вражеского окопа раненного в обе ноги помкомвзвода Клявина, передал его бойцам, а сам вместе с Марком Гейликманом остался на месте, намереваясь гранатами и огнем автомата «Суоми», хорошо знакомого ему еще с финской кампании, прикрывать отход своей группы. И два храбреца вступили в неравный бой с несколькими десятками наседавших фашистов, приняли на себя всю силу вражеского автоматного-пулеметного и минометного огня.

В это время разведчики отходили без лишних потерь, заботливо выносили с поля боя раненых товарищей. Стрельба еще долго слышалась там, во вражеских окопах.

В свои траншеи сержант Хотинский и боец Гейликман не вернулись — они погибли смертью героев.

Боевой друг Слава Хотинский! Твои мечты сбудутся: мы далеко отгоним фашистов от Северной Пальмиры, освободим от врагов священную землю нашей Родины. И твои товарищи-художники, вернувшись с фронтов Отечественной войны, создадут огромную галерею картин и скульптур, посвященных героям борьбы с фашизмом. Среди них в бессмертном мраморе будет запечатлен и твой замечательный образ героя-разведчика, художника-борца.

Этот бой был лишь одним эпизодом дня, одной короткой огненной вспышкой на линии обороны города. Такие вылазки в траншеи врага совершались во многих местах. Книга А. В. Бурова «Блокада день за днем» сообщает, что 28 января 1942 года морские пехотинцы на Ораниенбаумском плацдарме в жестоком бою заняли деревню Терентьево. На следующий день с Волховского фронта пришло сообщение: три бойца-коммуниста закрыли собою три дзота, мешавших продвижению полка.

Идут полки родимые, ломая сталь преград,
Туда, где трубы дымные подьмет Ленинград,
Где двести дней уж бьется он с немецкою ордой,
Стоит скалой, не гнется он над вольною Невой.

Так писал об этом подвиге Николай Тихонов.

Что такое подвиг и есть ли выбор, если ты на войне и перед тобою враг?.. Сорок разведок провел со своим отрядом Ростислав Хотинский. И возвращался живым — и он, и многие его товарищи.

Что такое разведка, зачем она в позиционной войне?

Зачем рисковать, перерезая слой за слоем стены колючей проволоки, пробираясь сквозь минные поля, проползая по снегу, замирая под вспышками ракет?

А затем, чтобы знать, что задумывает враг, чем он располагает. Чтобы выведать его огневые точки, вызвав огонь на себя. Взять «языка». Наблюдать долгими часами за тем, что делается в окопах, слышать чужую речь

и не выдать своего присутствия ни кашлем, ни звуком ружейного затвора. Все вызнать и уйти. Или — ворваться во вражьи норы, посеять панику, показать, что ленинградцы могут ринуться на прорыв блокады в любой час. Не давать врагу послабления нервов. Своим показать: можем драться.

Вот зачем разведка, вот какова была задача батальона сержанта Хотинского. Чуть позже мы прочтем в письмах домой Марка Гейликмана рассказ об одной из разведок, его слова: «Иногда ходим в очень интересные задания, подчас сопряженные с большей опасностью, чем у бойцов на передовых, сидящих в окопах. За меня не бойтесь, я попал в умную, деловую, смелую компанию людей хороших и умеющих мстить, не теряя своей жизни и крови. Погибать никому из нас неохота. Но уж если придется...»

Была ли альтернатива подвигу в этой, сорок первой для его группы, разведке?

...Они добирались до линии вражеских укреплений. Снег, ветер, тьма. Вдали, не светясь, не выдавая себя лучом хотя бы с острие ножа (да и чему светиться — копилки в холодных кухнях!), дышал голодный, застывший Город. Город, который был сейчас для них — как вся жизнь, как вся земля — здесь, за спиной, под их защитой.

Был ли выбор у Хотинского?

Командир мог приказать любому: «Прикрой отход!» Он сказал: «Я прикрою!» — и отдал приказ уходить. Вынес из траншеи раненого товарища, передал бойцам. Потом, пристроившись за бруствером траншеи, навел автомат на движущуюся перебежками цепь врагов. Увидел — рядом стреляет Марк. Этот сделал свой выбор вопреки приказу — остался рядом с командиром.

Когда-то в юности Ростислав Хотинский нарисовал свой герб — сокрушенное молнией дерево и маленькую ветвь, от него отходящую — себя. Горестно — эта ветвь не зеленеет, не дала своих побегов. Да, как ни надеялась я узнать, что кто-то после него на свете остался, — безрезультатно, надежда эта отпала.

Нить можно протянуть от каждого имени

Перед тем как вновь открыть дневник Михаила Вашкевича, хочу подчеркнуть мысль вот какую: очень много имен названо в этих тетрадах. Это все бойцы, команди-

ры, сражавшиеся за Ленинград, и уже потому надо эти имена оставить хотя бы только названными. Может быть, о Хотинском в дневнике написано больше, чем о других, но ведь они были друзьями. Надо сказать, что в процессе работы над рукописью и я высветляла то, что он говорит о Ростиславе,—потому что прочла его последние записки, потому что совпали, нашлись, объединились документы, от них оставшиеся. Уверена, можно пойти по следу каждого упомянутого Вашкевичем имени, отыскать и родных, и друзей погибших бойцов и узнать о том, какими они были. Еще можно.

20 февраля 1942 года. Был в Ленинграде.

Народ в городе повеселел. Прибавка хлеба, выдача кое-каких дополнительных продуктов благотворно действовали на людей. Публика выглядит живее, чище, ходить начали быстрее. По дворам идет уборка нечистот, которых в связи с отсутствием воды накопились горы. В учреждениях появилось электроосвещение. С 25 февраля, говорят, пойдут трамваи. Работает радио, телефон.

Почтамт начал разгрузку завала писем (около 1500 мешков), в этой работе деятельное участие принимает городская комсомольская организация.

Смертность от голода значительно уменьшилась, но все еще люди гибнут. На работе у меня умерли за эти дни инструктор Платов, плановик Богданов, молодая сортировщица Гридина... Истощение зашло так далеко, что многих уже не спасти. Во всех учреждениях образованы стационары, куда на десять дней помещают наиболее обессиленных и изголодавшихся работников и восстанавливают их силы под присмотром врача.

23 февраля. Ночью противник как-то особенно сильно обстреливал город, нашу передовую, штаб нашей дивизии и среди других объектов — район расположения нашей роты. Дом наш ходил ходуном, в соседней комнате вылетели стекла. Неохота было подниматься, идти в бомбоубежище, думаю: что будет, то и будет. Бомбардировка продолжалась, встряхивало, как в вагоне при внезапных остановках, заснуть было трудно. Вышел во двор. Снаряды с визгом пролетали к штабу дивизии. Некоторые рвались близко к нашему дому — слышно было, как с рокотом, жужжанием разлетались осколки...

Утром узнал, что один из снарядов около землянок третьего взвода ударился об землю, подпрыгнул, пере-

вернулся в воздухе и... не разорвался! Сейчас как чушка лежит там в снегу. Вес его — 43 кг. Длина — до 60 см. Диаметр — 15 см. Всего в районе больницы Фореля было брошено до 150 снарядов. Видно, фашисты перед уходом от Ленинграда торопятся израсходовать свои огневые запасы или же, зная, что 23 февраля — День Красной Армии, стараются нам насолить.

Шагая утром по обломкам деревянных стен пристройки на кухню, я увидел, что через дыру, пробитую в стене разрывом снаряда, брызнули лучи солнца, которого до сих пор на кухне никогда не было. Такова жизнь! Несмотря на разрушения, смерти, рождается новое, которое уже по-иному утверждает жизнь.

На днях специально ходил в санчасть 8-го стрелкового полка, где собраны неопознанные трупы, с мыслью — не найду ли там Славу и Марка. В еловом лесу, прикрытые ветками, лежали около сотни бойцов и командиров, но некоторых и родная мать не узнала бы — до чего они изуродованы! Лица трупов восковые — желтые, застекленевшие, вернее, какие-то одеревеневшие. Сначала было жутковато, неприятно, как-то не по себе: я все время думал о том, что вот эти люди жили, смеялись, о чем-то мечтали, а сейчас лежат — ничего им не надо. Через десять минут освоился окончательно, ходил по рядам тел, еловой веткой смахивал с их затвердевших лиц напорошенный снег, некоторых, лежащих вниз лицом, перевортывал, освобождал лица от приставших к ним частей одежды (то рукав пристыл, то шапка, нахлобученная до рта, то капюшон белого маскировочного халата). Особенно трудно перевортывать тела с раскинутыми руками и ногами: пока лежит, кажется, что места занимает мало, а приподнимешь — как суковатое дерево или коряга, поднимается на метр от земли. Есть, несмотря на смерть, красивые лица. Разведчиков мало — большинство бойцов в шинелях, которых мы в разведку не надеваем, и без маскхалатов, а это для нас обязательно. Я не нашел своих никого. От бойцов, работавших на кладбище, узнал, что убитые привезены из районов обороны 6-го и 8-го стрелковых полков. Следовательно, Славы там быть не могло, так как они с Марком погибли перед фронтом обороны 14-го стрелкового полка.

В лице Хотинского и Гейликмана наша разведрота потеряла и общественных работников. Их руками выпускался в роте окопный журнал «Разведчик». Ухо-

дя в последнюю разведку, Слава готовил к выпуску Ленинский номер журнала. Нарисовал обложку, написал статью «Почему комсомол называется Ленинским», нарисовал карикатуры к моим стихам «Веселый лыжник» и ряд заголовков. В прошлых номерах он также иллюстрировал мои стихи.

После смерти Славы и Марка заканчивали журнал я, калмык Лиджи (по-русски — «ясный день») Теленгидов и ленинградец инженер Гореленков. Я написал для журнала очерк «Сержант Хотинский», нарисовал все заголовки и карикатуры в отделе юмора. Короче говоря — закончил начатое Славой дело и буду продолжать его впредь.

Слава и Марк представлены к правительственной награде: Слава — к ордену Ленина, Марк — к ордену Красного Знамени.

24 февраля. В ночь на сегодня был в разведке. Шел с командиром роты. Подходя к передовой, почувствовал, что несколько отвык от визга пуль — двум или трем из них поклонился, а потом вспомнил, что ту, которая убьет, — не услышишь, и успокоился. Действовала наша разведка в лесном участке фронта. Перед выходом группы на поиск я пострелял из своего автомата. Бил по вспышкам огневых точек противника. Закладывал обоймами и сразу по пять штук выпускал. Попал ли в кого — неизвестно. Возможно, продолжил счет уничтоженных гадов? Это вполне вероятно, так как расстояние сравнительно небольшое — 150—200 метров. Немцы стреляли методично, с точными промежутками, бросали ракеты, но огонь вели не прицельный, так как основная масса пуль летела намного выше бруствера нашей траншеи. Несколько позже фашисты обнаружили движение в нашей траншее и начали бить из минометов. Мины рвались в десяти — пятнадцати шагах, большинство позади траншеи. Одна разорвалась совсем близко, — меня слегка оглушило, обсыпало крошками мерзлой глины. Пока могу сказать, что от смерти был на метр, не ближе.

Кончаю. Дивизионная батарея начала огонь по врагу. В окне дребезжат стекла. Ложусь спать. Два часа ночи, или, как принято здесь говорить, «два ноль-ноль».

26 февраля. Пришел из штаба дивизии младший лейтенант орденоносец Козлов. На мой вопрос: «Что нового?» — ответил, что в районе Старой Руссы здорово потрепали 16-ю армию противника. Убито 12 тысяч

фашистов, взято 180 орудий и другие крупные трофеи. Он помолчал. Потом сказал: «Получил известие, что немцы расстреляли моих родителей, а сестру сожгли...»

...Я так много раз перечитывала дневник Вашкевича, что фамилии запомнились, и после, изучая подборку газет дивизии, отмечала их в материалах о фронтовой жизни. Так встретился мне и рассказ о С. Д. Козлове — вот подтверждение мысли о том, что можно отыскать нить каждой жизни.

Красноармеец С. Д. Козлов был до войны учителем. В одном из первых боев он совершил свой подвиг, за который был награжден орденом Ленина. А дело было так.

В селе закрепился взвод красноармейцев. Противник обошел село с флангов. Начался бой. Красноармеец Козлов почти в упор застрелил восемь гитлеровцев. Так же героически дрались другие бойцы. Но фашистов было значительно больше. Предстояло с боем выходить из окружения. Щурясь от яркого солнца, Козлов выскочил из дзота, в рукопашном бою уничтожил штыком и гранатой еще восемь врагов, был ранен, ползком добрался к своим.

После госпиталя Козлов закончил курсы младших лейтенантов, стал командиром разведчиков, снайпером, общий счет уничтоженных врагов довел до 52. В конце февраля он получил печальное известие: фашистские изверги уничтожили всю его семью — отца, коммуниста, председателя сельсовета, мать, коммунистку, партизанку. В его селе фашисты сожгли живьем 27 девушек, среди них была его пятнадцатилетняя сестра.

Вот такая история жизни стоит за строчками дневниковой записи в тетрадке Вашкевича: «Пришел из штаба дивизии младший лейтенант орденоносец Козлов».

Позже Вашкевич напишет во фронтовую газету о нем очерк, художник Павел Аб нарисует его портрет. За каждым именем для Вашкевича стоял живой человек, многие стали бы героями его будущей книги о войне. Пока же он записывал то, что видел, переживал, о чем думал каждый день.

...Такая же участь, как и Козлова, постигла военфельдшера Кочерова. У него тоже расстреляны отец и жена.

Подлые гады! В своей бессильной злобе за удары

Красной Армии они мстят неслыханными издевательскими над семьями наших бойцов и командиров, над пленными красноармейцами, над мирным населением. Сердце наполняется таким огнем ненависти, что кажется, при любых обстоятельствах никто из нас не пощадит ни одного врага...

27 февраля. Не верится как-то, что уже нет в живых Славы Хотинского, никак не привыкну к тому, что этот факт свершился. Написал его жене в Ленинград и матери в Саратов, что он ушел на выполнение ответственного боевого задания, откуда еще не вернулся. Надо, мол, быть готовыми ко всему, — не хочется, как обухом, ошарашивать их сухим сообщением о том, что Слава убит. Пусть подготовятся к этой мысли постепенно. Ленинградским семьям я вообще воздерживаюсь сообщать о гибели их мужей и отцов (Цицерский, Малиновский, Швецов и другие), так как ленинградцам и без того тяжело. Пусть хоть немного улучшится положение в городе, люди окрепнут духом — легче переживут несчастье, которое для них все равно уже свершилось.

Трупы Славы и Марка остались у траншеи противника. Хорошо, если они убиты сразу, но если кто-либо из них был тяжело ранен и в таком состоянии попал к врагу — это хуже смерти! Марку пишут его однокурсницы по Химико-технологическому институту — из Горького, Казани, Белозерска, а из Чебоксар пишет его сестра. Сестре Марка написал такое же предварительное теплое, подготавливающее письмо, как и родным Хотинского. А вот девушке из Белозерска, которая, судя по содержанию писем, являлась наиболее близкой ему, я написал прямо, что он погиб смертью героя.

Тяжело нести эту обязанность — информатора о несчастьях. Я стараюсь поручение командования выполнять не формально, а так, чтобы каждый из родных погибших бойцов услышал теплое слово, получил бы ответ на свои обычные вопросы: «Напишите, как он погиб, при каких обстоятельствах, кто был с ним рядом, оказали ли ему помощь, не мучился ли он, что нам теперь делать, как получить пособие?» и т. п.

«Тяжело умирать молодым!» Тяжело терять только что выращенных сыновей! Мне, пожалуй, даже немножко стыдно задерживаться на этом свете, когда кругом гибнут молодые, талантливые ребята, а я уже пожил, кое-что видел, ничего уже нового не приду-

маю. Хотелось бы, конечно, увидеть своих детей взрослыми, посмотреть, что получится из Марата. Но вообще-то, в тридцать семь лет умирать не так обидно, как Марку в его двадцать!

Родители убитого комсомольца Олега Мильнера, девятнадцати лет, просят нас о том, чтобы прислать им, если есть, фото сына, его записки, письма, все, что дорого для них и неинтересно для посторонних. К сожалению, их просьбу я удовлетворить не могу. Погиб он в болоте под Кискино. Где его документы и вещи, никто не знает, — прошло уже пять месяцев. Написал им письмо. Где тело Олега — неизвестно, оставлен на поле боя. Однако родители хотят посетить это место после войны обязательно. Пришлось написать, что у деревни Кискино он похоронен в братской могиле, которых там будет, конечно, не одна.

Убитая горем жена красноармейца Вани Сугакова спрашивает: «Как он погиб? Почему молчите? Неужели все его товарищи погибли? Обидно мне, медработнику, сознавать, что Ване, возможно, никто не оказал никакой помощи, а я здесь оказываю помощь десяткам людей. Где его орден? За него должна получить пособие его малолетняя дочь...» и т. д. Отвечаю большим письмом, в котором, как могу, утешаю ее, пишу, что Ваня убит был сразу (о том, что от разрывной пули вспыхнула бутылка с горючим и что одновременно с тяжелым ранением он загорелся и горел живым факелом, — об этом не пишу, писать этого нельзя), пишу, что раненым помощь оказывается немедленно, что орден его остался, кажется, у него на груди...

Писал я отцу Уманского, матери Котицына, жене Николаева и многим другим родственникам наших бойцов и командиров. Ни одно письмо не остается без ответа. Пересылаю им деньги убитых, документы, фотографии.

Только что получил письмо жены Хотинского. Вскрыл. Прочитал. Она полна тревоги, но пока ничего не знает. Некоторые места ее письма можно читать любому бойцу — пусть знают, что переживают сейчас ленинградцы, как болеют душой за всех нас. Письмо написано очень образно — видно, культурная женщина. Вот бы Зое в подруги — в их переживаниях, манере письма есть что-то общее. А может быть, я ошибаюсь — просто сам стосковался по хорошим письмам и потому со слезами на глазах читаю чужое письмо; думаю, этим я не сделал ничего плохого...

Все-таки какое изумительное по своей правдивости письмо. Грешен — люблю такие письма, возможно, и буду когда-нибудь «инженером человеческих душ». Так и подмывает ответить. Но нельзя. Во-первых, не стоит сообщать, что я читал его; люди стыдятся оголять свои чувства перед посторонними (и правильно делают!). А во-вторых, еще рано писать после первого предварительного письма.

Как много высоких чувств рождает в душе такое письмо...

«Желаю тебе жизни...»

Так получилось, что письма Тамары Хотинской прочтены в связи с дневником Ростислава. Но если бы сохранились только листки, написанные ее рукой, — их следовало бы опубликовать: письма ленинградки из блокадного города. Она пишет очень дорогому ей человеку, другу. Да, у каждого из них появилась новая любовь. Но были общая юность, друзья, город, искусство, десять самых лучших лет.

«Мы были молоды, бедны, я понимаю...» (В. Луговской). И — богаты исканиями и надеждами. Тамара верила в талант Ростислава, она и в войну, оберегая от обстрелов, прежде всего запаковала его работы. Взяла в эвакуацию их переписку. Как жаль, что все это не сохранилось!

Как любила она, чтобы в доме — гости, чтобы — шум, восторги. И еще — когда вдруг соберутся все — и мать с отчимом, и брат Ледик приедет, и друзей полон дом, и все вечера музыка, споры. Все это теперь воспринималось как счастье.

Ленинград.

2 сентября 1941 года.

Милый мой, дорогой Славик!

Я получила твое письмецо, но с очень большой задержкой. Что с тобой, что с вами? Пиши, если можешь, почаще. Так тяжела и трудна сейчас жизнь, а письма служат таким утешением.

Сейчас четыре часа ночи, я дежурю в тресте. Вечер был тяжелый, и спала я только три часа, не сердись, если письмо будет бессвязное.



Тамара Хотинская.



Тресту очень не везет. Недавно в него попал снаряд — в ту комнату, где мы работали. Пробило стену, но, к счастью, все успели выйти до этого и никто не пострадал. В прошлое же мое дежурство была сброшена бомба в соседний дом. Понюхала смерти, теперь знаю, что это такое, и теперь особенно волнуюсь за вас, кто смотрит ей в лицо каждую минуту. Бедный мой мальчик. Я знаю, ты рассердишься на меня за это слово, но все же, дорогой мой, прими это просто как ласку.

Как тяжело и страшно видеть ужасы войны и думать о них! Когда же кончится эта война и мы сможем зажить по-прежнему! Как хочется вернуть наш прошлый, каждый мирный день.

Милый Славик! Я хочу, чтобы ты был здоров и бодр, я хочу, чтобы ты вернулся, как после финского фронта, целый и нерастроченный.

Писем тебе нет ни от мамы, ни от Аси. Я думаю, что они лежат на почте. Пришли мне доверенность. Мама, наверное, думает, что мы уехали, а Ася просто не хочет писать на мой адрес, зная, что тебя здесь нет. У Аси все в порядке: Аня получила открытку, в ней она просит поцеловать тебя.

Где лежат фото с твоих работ? Я хочу их спасти, но не знаю, где найти. «Девушку» я запаковала, а остальное в очень плохом материале, их никуда не уложишь. Из писем я уложила только нашу переписку, это и то немало.

Дома очень холодно, мы перебрались в одну комнату, а хотим переехать в кухню — там плита и маленькие окна.

Ленинград.

11 ноября 1941 года

Милый мой Славик! Уже давно я жду от тебя письмо и очень-очень волнуюсь. Тем более после того, как ты обещал нам свой визит. К тому же я запуталась в ваших почтовых ящиках. Но вот ждала-ждала, а от тебя все ничего нет, пишу на всякий случай, вдруг дойдет. Очень все ждем тебя и Степу, говорим часто о вас и вспоминаем. Передай ему привет от всей нашей семьи.

Я получила девятого числа письмо из флота от Трусова Ивана Кузьмича. Помнишь ли ты его? Он мне представился и написал, что будет писать регулярно

в первые числа каждого месяца до конца войны или до смерти. Очень растрогал он меня своим письмом. Он хочет с тобой переписываться, просил твой адрес. Напиши ему. Больше ни от кого писем не получала, а потому новостей тоже пока особенных никаких. Да я теперь их не очень люблю.

Я сижу дома — чересчур простужена. Не болею, но сильно кашляю. Нет ли надежды, что вас отпустят на денек на побывку? Может быть, мимо проходить когда-нибудь будешь? Пользуешься ли ты своими лыжами, пригодились ли вторые? Ведь снег теперь глубокий. Все желают тебе счастья и удачи. А обо мне и говорить не приходится. Если бы мои пожелания ограждали от несчастий, то я могла бы быть совсем за тебя спокойной.

Будь крепкий и здоровый. Целую тебя крепко. Жду
письма.

Твоя Томка.

Ленинград.

13 декабря 1941 года

Милый Славик! Очень беспокоюсь о тебе. Погода сейчас такая морозная и вьюжная, все думаю, как тяжело тебе работать. Как-то ты там? Мы держимся. Даже няня теперь всегда слушает радио и в курсе всей международной ситуации, и чувствуется, что верит и надеется. Сегодня сказала мне: «Да, я тоже пережить все это хочу и посмотреть, что будет». А это уже большой сдвиг, раньше все умереть хотела. Сил только мало, и это ужасно пугает. Ведь не знаешь, сколько нужно еще ждать, а ресурсов не остается.

Страшно было бы потерять кого-нибудь из близких. Вот и боюсь за всех и волнуюсь. Мы все трое чуть припухли, но все же это еще совсем немножко. На улице нас сравниваю с другими и чуточку успокаиваюсь. Еще ничего — жив курилка. Мы очень рационально сьедаем свой паек. Каждая наша кроха у нас проблема: как, что и когда съесть. Решаем, что полезней, и пр. В общем, с научной точки зрения. Мне кажется, только благодаря этому режиму крепче и держимся, чем другие. В общем, в том, что зависит от нас, не подкачаем. Остальное же не в наших руках.

У няни осталась от праздников бутылка вина. Она все хотела в Новый год с тобой выпить, потом сменять

хотела на еду. Но теперь уж я настаиваю, и кажется, мне удалось уговорить ее, принимать по рюмочке с чаем, как лекарство. А менять мы не мастера: никак не выходит, даже у мамы. Сноровка нужна. Плохо, что мы мерзнем зверски. Сейчас это особенно мучительно. Никак не отопиться — отовсюду несет морозом. Решили отдать один наш паек конфет за буржуйку, а самим потерпеть, иначе не сделают. От хлеба же отказаться еще трудней. Может быть, тогда согреемся.

Вот и все наши новости. Чепуха все это. Так хочется знать о тебе. Хотя бы просто: жив, здоров. Больше ничего не надо.

Отчего ты молчишь? Пиши скорее.

Целуем тебя крепко-крепко все, ждем, ах, как ждем!

Ленинград.
25 декабря 1941 года

Мой милый, мой дорогой Славик!

Я подчеркнула сегодняшнюю дату не случайно. Она особенная — эта дата. Для всех ленинградцев, и для меня в особенности.

Четверг, 25 декабря 1941 года — ее надо помнить. Сегодня нам прибавили хлеба, и хлеб этот — не только хлеб, который мы научились так ценить, так уважать и любить, и который является нашей жизнью, это — не только хлеб. Это наша победа. Этот маленький кусочек хлеба обещает нам так много и так много вливает радости и бодрости в сердца.

И наконец, наконец — твои открытки. Тут уж я не выдержала и слезу пустила. Ты жив и здоров! Если бы ты знал, сколько говорим о тебе и как волнуемся! И ты жив и здоров — это так очевидно говорят твои открытки за 17 и 20 декабря. Такое счастье! И такие бодрые и обещающие открытки, какие давно уже хотелось получать. Поплакала еще немножко по поводу смерти незнакомого мне Володи. Так жалко, боже мой, как жалко всех, таких хороших, таких молодых! И еще мысль — это было рядом (рядом!) с тобой. Ах, Славик, дорогой, как хочу я, чтобы мои пожелания могли сохранить тебе жизнь и здоровье во всех испытаниях, которые уже есть и которые будут. Да будет так! (Береги лягушонка.) И наконец — что за необыкновенный день! — еще одна открытка от тебя — от 22

декабря. Она такая хорошая, такая бодрая, так много силы и радости принесла она нам.

...Сегодня 25 декабря. Сегодня день твоего рождения. Я это помню очень хорошо. Пусть этот день окажется для тебя счастливым. А через шесть дней Новый год. Это не такой Новый год, который мы привыкли встречать всегда. Нет приготовлений и разговоров за месяц, нет маскарадных костюмов и запасов бутылок, нет бенгальских огней и фонариков, и главное, нет всех тех, без кого не встречала Новый год, без кого стол не стол и праздник не праздник. Нет всего этого — нас трое, три женщины и еще одна женщина, мать недавно убитого на фронте бойца. Она живет в нашем доме, мы познакомились в убежище, она одинока и страдает больше нас. И есть желание — желание встретить этот Новый год, от которого больше требуешь и ждешь, чем могли бы мы требовать и ждать от прошлых таких дат.

Вас не будет с нами, хотя мы бы так хотели этого, дорогой, но мы встретим его за вас и душой будем вместе. Мы затопим печку, сварим погуце суп, может быть, с макаронами, мы откроем бутылочку вина и выпьем за ваши, за наши победы, мы выпьем за наши мечты, за будущую хорошую жизнь. Мы пошлем вам столько теплоты и сердечности, столько пожеланий, что грешно им было бы не исполниться.

Милый Славик! Где бы ты ни был в это время, в каких бы условиях ни находился, знай, что я все-таки встречаю Новый год вместе с тобой. Встречаю его в нашем милом, родном Ленинграде, пусть под грохот артиллерийских снарядов, но в нашем, который никогда не будет «их» городом.

Твоя последняя открытка говорит, что ты не сможешь писать. Я это понимаю, но это очень грустно. Я понимаю, что будут горячие дни, и в них я желаю тебе, всем вам успеха. Но пришли мне потом, когда сможешь, письмо, написанное своею рукой. Я жду его. Согласен ли ты с моими планами, о которых писала в прошлом письме? Правильно ли я надумала? Конечно, это все еще очень далеко и в порядке мечтаний, но все же — «Кто может запретить мне мечтать?»

Следующее письмо Тамары — то самое, которое читал и переписал в свой дневник Михаил Вашкевич после

смерти друга. Теперь я прочла его в подлиннике — в пачке бумаг Р. Хотинского, которые хранятся в музее училища.

Ленинград.
24 января 1942 года

Милый Славик!

Теряюсь в догадках и тяжелых предположениях. Получила от тебя только одну открытку поздравительную с Новым годом, помеченную 29 числом прошлого месяца, и больше ничего. Что с тобою? Где ты? Как узнать? Боюсь, что что-нибудь случилось. Отчего молчишь? Если жив — где бы ты ни был, что бы ни делал и что бы с тобой ни произошло, — откликнись, напиши сейчас же. Очень волнуемся. Жду вести — даже писать ничего не могу толком. Мы живы. Няня плоха. Поддерживаю ее силы, чем могу. Отдаю ей свой паек сладостей и все, что мне удается получить для себя, отдаю часть своего масла, когда бывает, словом, делаю все, что может изобрести любовь и забота, но все же очень боюсь. Она все время лежит. Все заботы теперь несу я. Работ по дому стало очень много, и они очень тяжелы в создавшихся условиях. Не буду их перечислять, но оказывается, что чем незамысловатей быт, тем черней и тяжелей его осуществление. Но все это ничего. Вынесу я все и даже большее, лишь бы всем нам, моим дорогим близким и мне, дождаться радостного конца. Ах, скорей бы, скорей бы! Бодрюсь, как умею и как не умела раньше, держу в руках не только нервы, но и остатки физических сил, властвую над настроением, но тяжела мысль, сверлящая все время, об опасностях, которым ты подвергаешься каждый миг и, может быть, уже подвергся. Вестей ниоткуда никаких. Беспokoйств и волнений слишком много. Пиши.

Вечером, когда закрываю ставни, зажигаю лампадки (масла наменяла на старые бутылки), надеваю шубку, заворачиваюсь в нянин плед и до последней сегодняшней радости — вечерней буржуйки с кусочком хлеба — читаю. Когда нет обстрела и дыхание моих опекаемых ровное — это покойное время. Стынут руки, масло коптит, лампадку приходится держать в руке, а то совсем темно, но тело отдыхает, а для души не хватает только писем с фронта.

Вот так и живем. Ждем. Упорно верим. Упорно хотим, желаем, жаждем жить и дожить.

Когда стою в очереди за водой в такой жуткий мороз и когда за час-полтора совершенно оледеневают руки и ноги, то не могу прогнать мысли о том, как трудно теперь вам, и сердце разрывается от сочувствия и от боли. Ведь в такой мороз и рана — смерть, и без раны может быть смерть на такой работе, как ваша.

Пиши же чаще, мой дорогой.

Помнишь ли ты у Джека Лондона «Волю к жизни»? Вспомни, если забыл, — это многоговорящая вещь. Часто эта воля к жизни бывает спасением. Не теряй ее.

Ну вот и все, Славик. Пока кончаю. Желаю тебе самого доброго и хорошего, желаю тебе жизни и успехов в трудном деле. Душой мы всегда с тобой и всегда болеем за тебя. Пиши же скорей, жизнь тяжела и сурова, не дополняй ее волнениями и тревогами.

Целую тебя крепко-крепко.

Живи и выживи!

Ждем встречи. Твоя Томка.

Ленинград.

3 марта 1942 года

Милый Слава! Сегодня получила от тебя открытку от четырнадцатого января. А сегодня третье марта. Вот так идут письма. Пиши, мой дорогой, чаще. Я пишу без конца, но все, видимо, в бездну.

Настроение ужасное. Пережила страшную, невозвратимую потерю. Умерла няня. Трудно писать, трудно что-нибудь сказать. Наверное, сам поймешь мое состояние. Сердце окаменело. Ненависть, жгучая ненависть к проклятому Гитлеру, перевернувшему и разбившему все наши жизни. Горе, сколько горя кругом. Плакала вначале. Тяжело было, невыносимо тяжело. Потеряла самое ценное — любовь человеческую, святую. А сейчас и слез нет. Окаменела.

Приходи, если сможешь. Тяжело одной. Няня еще дома. Все ждала тебя и не дождалась. А как жить хотела! Говорила: «Посмотреть хочу, что дальше будет». Мучилась очень. Не было ни врача, ни лекарств... Хоронить ее хочу сама, в отдельной могиле и гробу. Сама повезу на саночках. Отдам ей, моей дорогой, последний долг.

Жить хочу, бороться хочу, дожить хочу.

Жить не страшно — умереть страшно. Не страшно, но грустно и одиноко. Впервые в жизни чувствую, что я одна. Но многому научили восемь месяцев — не пропаду. Ужасно только хоронить свои мечты. А сколько их было! Ах, Славик, сердце сжимается, и даже некому сказать.

Будь здоров. Живи, борись, не умирай, мсти.

Мсти за все мечты, за наше разбитое счастье, за все, за все. Привет товарищам. Леня Суров и Алик Евдосеев умерли.

Целую. Твоя Тамара.

В пачке писем, сохраненных братом Тамары — Леонидом Михайловичем Андреевым, есть письмо давней подруге — одно из последних, трагическое письмо, обвинение всякой войне. Тамара в эвакуации, она смертельно больна.

*Новосибирск.
6 октября 1942 года*

Милая Женя!

Это пишу я, Тамара, вернее, то, что от нее осталось. Сегодня я получила открытку, адресованную тебе Ане, и почему-то, хотя я отчаянно не люблю писать письма, мне захотелось написать... тебе или Вам? — не помню, совсем не помню, хоть и неудобно это... Но, впрочем, совсем неважно, пусть будет — тебе (это ближе, взаимному уважению не мешает, а что касается разницы лет, то где она?). Впрочем, прости, она есть, и, наверное, очень большая. Ведь я так стара, так безнадежно стара и духом, и телом. У меня старенькая сморщенная душа — она как старушка, живет еще чуть-чуть воспоминаниями, слезлива до отвращения, убога и притоптана жизнью. Ей ничего не нужно — ни театра, ни кино, ни радио, ни газет, только писем она еще ждет, только еще мечтает она о жизни — все равно какой, все равно где, лишь бы солнышко светило — вот и все.

Старушкам ведь тоже хочется жить...

А тело не позволяет. Тело мое тоже старо, хуже — оно дряхло, оно гибнет у меня на глазах, я вижу, чувствую, знаю, но... всякому свое — оно не желает быть дальше плохой опорой для души.

Да, Женя, милая Женя! Здесь нет ни капли лжи. Такая я стала. Ничего кругом. Темно. Пусто. Страшно, ах как страшно. И тоска, тоска... Мучительная, безысходная, грызущая. Ах, если бы ты знала, как неинтересно мне все! Ненужные знакомства, никчемные разговоры, бесполезные, неинтересные действия. Ничего не нужно... Лечь бы, лежать без движения, но не так, как мне приходится так часто (одной, с температурой 40°, без помощи, без участия), а совсем по-другому: в тепле, уюте, ласке, сытости. Я больна, Женя, больна очень-очень тяжело, тяжелей, чем кто-либо из оставшихся близких подозревает. Я, что называется в простонародье, просто плоха, совсем плоха. Мне физически так нехорошо, так тяжело, как, конечно, никогда не было, и как бывает перед тем, когда уже перестает быть плохо.

Я не буду тебе, здоровому человеку, писать, что я чувствую физически, но что я чувствую морально, когда я не сплю ночами, задыхаюсь, кашляю, в груди у меня скрипит и хлюпает, и днем, когда, уставшая и слабая, я выхожу во двор, смотрю на яркий снег и думаю: «Это последняя зима», — что я чувствую морально — я не могу сказать.

Боль, отчаяние, ужас...

Женя, я хочу жить. Безумно, до бесконечных слез, до боли в груди, до судорог в пальцах, которыми мне хочется схватить ее, желанную, столько горя принесшую, столько горя обещающую, но любимую, все же любимую жизнь. О, кто поймет это властное и бессильное «Я хочу жить!»? Только тот, кто так же страдает, как я. О, немножечко, еще немножечко! Хоть до весны. Женя, пойми, ты кусочек прошлого, хорошего прошлого. Вытянись из него, загляни в черноту моего настоящего и пойми, пойми эти страшные, остающиеся без ответа слова — «Я хочу жить!», пойми крик моей души, и пойми еще, что крикнуть некуда, не во что, некому... О нет, я не прошу совета — что можно советовать? — я не прошу помощи — разве можно помочь? Я не прошу сочувствия — даже оно тяжело для того, кто должен сочувствовать...

Так зачем я написала все это? Так, накопился весь этот ужас, нужно было выплеснуть, а то бы захлебнулась. Прости, что сделала в письме к тебе, но ты такая яркая память о прошлом, о маме, о детстве, о хороших и плохих, но теперь одинаково розовых днях... Да и не забудь, Женя, я теперь сирота, такая круглая,

какою, казалось бы, трудно стать в такой короткий срок. Это мы только как-то ужасно чудовищно и нелепо сумели втиснуться всем семейством, как говорится высокопарно, «под колесо истории». Леда — мы страшно дороги друг другу. Я для него, он для меня — в этом жизнь. Он многое, многое делает, чтоб меня спасти, он отдает все силы и всю свою любовь, но многого он не понимает. Он не понимает надвигающейся катастрофы, он не видел смерти, он не знает ее. Он не верит в нее, он гонит мысль о ней, он не хочет признать ее еще и для меня — и в этом его ошибка.

Поэтому я пишу тебе.

Вот и все о Тамаре Хотинской. Она скончалась от туберкулеза, неизлечимо обостренного голодом, в марте 1943 года.

Когда терпеливый историк переберет папку с ее документами, он увидит всю ее короткую жизнь в горстке свидетельств: книжка для отметок на бирже труда, первая трудовая книжка. Выговор за опоздание. Благодарность за участие в срочной работе. Членские взносы в профсоюз. Взнос на бастующих горняков Англии. В фонд укрепления Военно-Воздушного Флота.

Ее письма покажут, как девочка ожидала радости, как женщина любила, как погибала.

Короткая жизнь, проклятая война.

Беспокойная ночь

«Разведки наши продолжаются,— пишет Михаил Вашкевич в своем дневнике.— Записываю не все, но эту, в ночь на 16 марта, записать стоит».

...Из больницы Фореля вышли мы около десяти часов вечера. Нашей роте были приданы десять автоматчиков, четыре сапера, четыре связиста, санитары. Шли мы (до пятидесяти человек) колонной по одному, все в белых халатах.

Артиллерия противника обстреливала город, наши батареи старались подавить противника. Шли мы под непрерывное гудение встречных снарядов. (Все эти дни противник особенно яростно обстреливал район больницы Фореля, порой даже жутковато было выйти из здания, так как мины и снаряды визжали прямо над головой.)

Теперь снаряды летели левее нас, в парк, но два

из них разорвались очень близко от нашей колонны и вывели из строя двух бойцов — с легкими ранениями.

Я шел за политруком роты в качестве его связного.

Выйдя из района парка, мы спустились в траншею и до самого переднего края шли по ней (полтора — два километра). Эту траншею вырыли еще прошлым летом, когда готовили линию обороны, и, видно, никто за ней сейчас не следит, не поддерживает в нужном состоянии: на каждом шагу завалы, идти тесно, местами она выше головы, а местами — очень мелкая.

Во время долгого и утомительного (до пота) пути по траншее я справа видел заветную звезду, и надо сказать, очень ей порадовался — как будто встретил Зорьку здесь, на берегу залива, в эту холодную ночь.

Но вот, наконец, мы пришли в энскую роту энского полка, где должны действовать. Слева от нас — разбитый трамвайный путь в Сосновую Поляну, на рельсах — обломки разрушенных трамваев. Через бруствер нашего переднего края летят трассирующие пули, прочерчивая в ночной мгле огненные линии.

Группа захвата (пленного) начала выдвигаться на передний край. За ней пошла группа поддержки. Следом — связисты с телефонными аппаратами и катушками проволоки. За ними — автоматчики. Я помогал автоматчикам подниматься на высокий, накатанный (видно, здесь много лазали!) бруствер, потом и сам полез навстречу огненным молниям. Путь проходил при непрерывном освещении ракетами и обстреле из пулеметов. Я ложился в снег и замирал.

Шнур полевого телефона привел меня к разбитому танку. Там лежал наш командир на снегу и стонал: он был ранен в нижнюю часть живота навывлет. Когда появился политрук, он передал ему командование.

Вокруг политрука скопилась группа поддержки, связисты; группа захвата тем временем двинулась вперед. Два неприятельских пулемета, расположенных впереди, начали обстрел, много пуль попало в танк, они с визгом отлетали в сторону, вспыхивая каким-то светлым, как от спички, огнем. Затем пулеметчик взял ниже, и пули забороздили по снегу так близко, что рукава и лицо мне обсыпало снегом. Связист, устанавливавший телефон, был ранен. Его начали эвакуировать. Второй связист принял катушку и аппарат, и мы двинулись вперед.

Ползли по-пластунски, вспахивая головой снег. Над



Связисты.

нами то и дело визжали пули. Подползли к разбитому, зарывшемуся носом в землю грузовику.

Группа захвата достигла второй линии проволочного ограждения противника. Автоматчикам было дано приказание выдвинуться к проволоке влево и вправо — по пять человек — и огнем автоматов прикрывать действия группы захвата.

Подтянув телефон к грузовику, наладить его работу второй связист не успел: его тоже ранили, он сильно стонал. Опасаясь, что этот стон выдаст наше присутствие у проволоки противника, политрук отдал приказание немедленно убрать его. Два бойца потащили раненого. Тут меня начал душить кашель. Я затыкал рот чем попало — в итоге наелся шерсти от своих варежек и снегу, который был пропитан какими-то маслами и керосином. Политрук накручивал аппарат, но тщетно.

— Вашкевич, надо связь!

Я вспомнил, что есть так называемое параллельное соединение, подтащил катушку с проводом, вонзил одну булавку в один шнур, другую в другой и взялся за трубку.

— Ворон, Ворон! Говорит Ястреб! Говорит Ястреб!

После нескольких повторений позывных (они изменены здесь) мне наконец-то ответили! Условных слов было немного: «берег» — наша передовая, «ост-

ров» — первый ряд проволоки противника, «остров-два» — второй ряд проволоки противника, «дно» — траншея врага, «хлеб» — артогонь, «дорога» — отход.

Слева били пулеметы, они мешали нам действовать.

Политрук сказал по телефону:

— Нужен хлеб. Точки слева мешают нам.

Через десять минут пролетели четыре снаряда.

— Подошли ко второму «острову». «Ползуны» сейчас пойдут на «дно», — передал политрук. И мне: — Пойди, узнай, готова ли группа Василенко.

Ползу к проволоке противника.

Люди в белых халатах лежат, прижавшись к земле.

Спрашиваю о готовности. Оказывается, один убит, два других потащили его ползком в тыл. Я к политруку.

— Немедленно вернуть!

Догнал. Ребята повернули назад, к проволоке. Я остался рядом с трупом. Смотрю в лицо — стараюсь узнать кто. По левому уродливо оттопыренному уху узнал Симахина — младшего лейтенанта. Трогаю его голову — вся в крови, кожа с черепа содрана. Как же его тащить? Был у меня в кармане конец веревки метра два, на всякий случай. Я сделал петлю, обхватив Симахина под мышками веревкой, решил его волоком эвакуировать к «берегу». Тяжело! Как свинцом налит.

Метров пятьдесят я, потный до нитки, тащил мертвеца. Когда взлетала вверх ракета или трассирующие пули начинали рисовать зигзаги над головой, припадал к земле рядом с убитым. Эвакуируя Симахина, думал о том, что вот волоку сейчас его безжизненное тело, а у него на родине, в далеком Алтайском крае, ждут его домой, думают о нем жена и двое ребят.

Под танком нашел группу бойцов, передал им Симахина, а сам пополз к политруку.

— Вашкевич, ползи к Василенко: командир дивизии приказал действовать немедленно!

Ползу к Василенко, передаю приказание. Он отвечает:

— Сейчас, пусть только немного утихнет огонь.

Возвращаюсь обратно к политруку. Через пять минут опять:

— Ползи еще раз! Пусть действуют!

Ползу. Передаю. В это время противник открывает огонь из минометов. Осколком ранен в грудь Василенко. Я ползу к политруку, говорю, что Василенко или

ранен, или убит. Политрук передает это по телефону. Ответ: пополнить группу захвата.

Я ползу назад — собирать пополнение. Догоняю двух автоматчиков, которые тащат раненого товарища.

— Назад! — кричу им. А бойцам из эвакуогруппы приказываю продолжить эвакуировать раненого автоматчика.

Ползу дальше. Вот — высокий вал и наконец-то наша траншея. Вижу еще двоих бойцов.

— Давайте туда, на поле боя, надо заменить раненых и убитых. За мной! — И вскакиваю на бруствер.

После первого ряда проволочных заграждений идти в рост нельзя, могут заметить, я пополз, хотя коленки и гудели. Навстречу двое волокут третьего. Еще раненый!

— Это кто?

— Коврыжных! — Боец свою фамилию говорит через «и»: «Коврижных», — и я легко узнаю его при первом слове. Второй оказался старшиной роты.

— Кого тащите?

— Вашкевича! — отвечает Коврыжных.

— Да ты что, в уме? Я — Вашкевич.

— Тогда, — говорит, — не знаем...

Говорю Коврыжному:

— Вон у той разбитой машины сидит пулеметчик Набока, он один, а ты, его второй номер, бродишь здесь. Давай к Набоке!

Коврыжных меня очень уважает, недаром он старательно тащил кого-то вместо меня, — приказание выполнил немедленно. Второй боец продолжил эвакуацию раненого, я помог перетащить его через проволоку, а сам вернулся к политруку.

Политрук сидел уже под другой машиной. Минометным обстрелом разбило оба телефонных аппарата, вывело из строя всех связистов, контузило заместителя командира роты, ранило в голову младшего лейтенанта Коваленко, который, несмотря на то, что кровь заливала ему голову, пополз к «берегу» сам. Я поднял каску Коваленко, хотел надеть, но увидел, что она дырявая. Все же каски — слабая защита: в этой операции было двое убитых и один раненый — в голову, и все были в касках. Возможно, они ослабляют удар осколка, но этого все же мало!

Заместитель командира роты обменял мне мою винтовку на свой ППД, а сам решил ползти в тыл.

— Ничего,— говорит,— не вижу, трещит и кружится голова.

Каску его скорезило.

— Подожди,— остановил его политрук,— выясним обстановку, и тогда поползешь с докладом к майору. Вашкевич! Сколко у нас выбыло из строя?

Отвечаю:

— Связисты — все, саперов — двое, наших — девять человек.

— Ползи,— говорит,— к Василенко, узнай настроение.

Ползу. У проволоки противника лежат пять человек. Ждут приказа. Оказывается, Василенко был контужен, но, когда очухался, остался в своей группе. Подползаю к нему:

— Митя, как настроение?

— Осталось,— говорит,— нас пять человек. Остальные выбыли из строя.— Он произносит это, а пули свистят!

Ползу обратно. Решили доложить майору положение и ждать ответа. С донесением пополз контуженный заместитель командира роты.

...Ночь. Тишина. Звезды. Только временами строчат пулеметы и с визгом проносится рой пуль. У переднего колеса машины лежит убитый автоматчик. По другую сторону от нас, у заднего колеса,— еще один труп, полужанесенный снегом. Тоже наш. Я предлагаю политруку обыскать, но он не советует: а вдруг труп заминирован?— фашисты хитры. Кстати, в эту ночь мы слышали разговоры в окопах противника.

Ждем.

Врывшись в снег, наблюдаю за местностью: не было бы обхода, засады. Нас семь человек — армия небольшая, захватить не так трудно. Гранаты выкладываю на снег. Лежим. Ждем. Смотрю на небо. Моргает мне Полярная звезда: не робей, Мишка, держись, «смелого пуля боится, смелого штык не берет»! А я и не боюсь: в эту ночь все мысли о себе улетели куда-то в сторону. Про себя я забыл настолько, что, пока держал ППД, не заметил, как отморозил большой и указательный пальцы правой руки (варежки для стрельбы пришлось снять). Обмороженные пальцы тер снегом, затем надел рукавицы. Лежим на снегу. Уже шестой час утра, а начали действовать в 24.00. Пять с лишним часов! И почти все время было жарко. Только

под конец, в ожидании решения майора, потное тело начала пробирать стужа.

Вдруг ползет к нам человек. Наш автоматчик.

— Майор приказал отходить.

Я ползу к Василенко. Чтобы легче разговаривать, ложусь рядом с ним на спину. В это время под носом — зык! — был я от смерти на пять секунд и десять сантиметров! Передаю Василенко приказание майора.

— А у меня, — говорит старший лейтенант Василенко, — настроение действовать, меня уже обещали один раз расстрелять и даже спрашивали, когда лучше: сейчас или вечером? Я отвечал — вечером, потому что в этот день еще не обедал. Сволочи, которые зачастую сидят в штабах, не знают, что делается здесь, и выводы делают очень быстро. Им из кабинетов все кажется легко.

После второго приказания майора: «Отходить», которое принес еще один гонец, Василенко отдал бойцам распоряжение ползти назад, а мы с ним поползли последними. Все же обидна участь разведчиков: бой был односторонний, в нас стреляли, убивали, ранили наших товарищей, а мы отвечать не имели права, дабы не выдать себя, не вызвать шквальный минометный огонь, а самое главное — чтобы не провалить операцию...

Вражеская линия обороны чрезвычайно сильно укреплена: проволочные заграждения, минные поля, бетонированные огневые точки, дзоты, сильная огневая система — много минометов, автоматов, пулеметов. Проволочные заграждения у немцев связаны со звонковой системой: тронешь проволоку — в неприятельских траншеях звонки. Много наших разведчиков отдали свои жизни и получили ранения, пытаюсь подбаться к фашистам.

...Домой я вернулся в девятом часу утра. Сильно устал. Пальцы правой руки щипало от мороза, как от ожога. Коленки и локти намял. Белый халат мой был в крови моих убитых и раненых товарищей.

Запись эту сделал красноармеец Вашкевич, только что вернувшись из разведки. Он так и не ложился спать, покуда не записал все свои впечатления о ночной вылазке в расположение фашистов. Ночью над ним свистели пули, он, чтобы не кашлять (туберкулезный процесс давал о себе знать), ел перемешанный с соляжкой

снег, тащил раненого, полз к старшему лейтенанту Василенко в группу захвата, возвращался к политруку, снова полз к Василенко, ожидающему, когда чуть стихнет огонь противника, чтобы идти за второй ряд колючей проволоки...

17 марта. Вчера вечером заходил в штаб старший лейтенант Василенко. Поделались мнениями об операции в ночь на шестнадцатое марта, и после этого я спал как убитый. Сегодня чувствую себя хорошо. Немного, правда, ломит тело. Но это от усталости.

Приходил Коврыжных. Я спросил его, почему он раненого связиста принял за меня.

— А я,— говорит,— видел вас около политрука, и раненый оказался рядом с политруком. Думал, что вы.

Днем противник сильно обстреливал район расположения одной нашей батареи. Грохот стоял жуткий.

Контрасты военной весны

29 марта 1942 года. Через два дня уже первое апреля! На улице солнце, с крыш течет, чирикают птички, на фронте тихо: или у фашистов нет снарядов, или они готовят какую-нибудь каверзу.

У нас тоже затишье, и я с упоением читаю книгу Каверина «Два капитана». Хорошая книга. Моим ребятам следовало бы ее почитать. Два дня я упивался Есениным. Написал пару стихов, по-моему, неплохих.

23 марта был в Ленинграде. Соседка Ольга Ивановна беспомощно лепечет: «Миша, спаси меня...»

Сейчас в городе умирают тысячи молодых, больницы забиты ранеными и пострадавшими от бомбежек. Чем ей помочь?

Правда, смертность резко пошла на убыль. 23 марта я видел только двух мертвецов — взрослого и ребенка, которых на широких санках везла какая-то женщина, да при выходе на Советский проспект в углу от выступа большого дома видел труп.

Ну вот и первое апреля. Каждый день — солнце. С крыш уже почти все стекло. В отдельных местах из-под снега показалась земля. Кругом лужи, вода. Дышится легко! На солнышке так приятно постоять. Фашисты молчат (и уже какой день!). Как будто и войны нет!..

Передал в Октябрьский райсовет на имя председа-

теля исполкома заявление с просьбой оказать помощь Ольге Ивановне, нашей соседке. Что получится? Сказать трудно.

4 апреля. Сегодня противник устроил небывалый «концерт». Били по нашему расположению с самолетов и из дальнобойных орудий. Ночью налет авиации повторился. Гудела зенитная артиллерия, небо полыхало разрывами снарядов, над землей, шипя, горели, как смоляные факелы, ракеты, сброшенные с самолетов на парашютах. Дом сильно встряхивало от разрывов бомб, но от их прямого попадания спасения нет нигде.

На этих днях я был поражен следующим зрелищем: через лужи, брезгливо отряхивая лапки, шествовала кошка, и не такая уж страшная. Я позвал ее — бросилась наутек, видно, все же одичала. Здесь с осени еще водились кошки, даже очень много было их, а потом они исчезли. Зимой их не было видно ни одной — а тут на тебе, пожалуйста! Живуча природа.

Сегодня ребята достали патефон и пластинки. Среди них «Челита», «Тайна», «Встречи» Шульженко, «Если любишь — найди» Утесова, любимые из старого репертуара — «Каховка», «Раскинулось море широко». Вспоминал прошлое, Калугу, молодость, любовь.

25 апреля. Разбужен был ярким весенним солнышком, которое заиграло на стали моего автомата. Пришлось встать. На улице — благодать. Фронт — тих. Но это предательская тишина. Вчера с утра тоже было тихо, а к вечеру фашисты открыли канонаду. Я был у телефона. Тут же находился командир роты — украинец Василенко, потягивавший свою верную «люльку». Дом наш сотрясался до основания.

Ну и наша артиллерия теперь дает жизни! 22 апреля с 4.00 до 7.00 стоял сплошной грохот. Только один соседний дивизион выпустил больше тысячи снарядов, а еще работали десятки батарей. Подняли такой шквал огня, что заставили немцев замолчать. На передовой выкатывали орудия за бруствер и прямой наводкой били по огненным точкам врага.

Земля на передовой ходила ходуном. От наших снарядов взлетали на воздух огневые точки, землянки врага. В Урицке во многих домах начался пожар.

Вчера после обстрела, когда шел с обеда, у нашей кухни стояла бледненькая, худая девочка. Я спросил ее, что она хочет. Она тоненько пропищала: «Покушать» — и заплакала. Я вспомнил Маечку, когда она пела: «Холодно, холодно, ежится кожица...» — и мо-

роз пробежал у меня по спине. Вид у девочки был ужасный. Я начал просить кока дать ей поесть, он протянул ей руку и сказал: «Давай, во что». Девочка, боясь, что ей не дадут из-за отсутствия ложки и тарелки, снова заплакала, в глазах ее появилось какое-то недетское сожаление. Она беспомощно пролепетала: «Я шла от Кировского завода...» Мы дали ей котелок и ложку, накормили. Я отдал ей весь свой хлеб, часть которого завернул в газету, чтобы она могла снести домой.

1 мая. Мною точно установлено место гибели Славы Хотинского. Он погиб в 200 метрах от клиновских домов (от левого дома) и вправо на 20 метров от красного кирпичного домика, как раз под сосной. Графически примерно так (здесь дается схема, приведенная нами на странице 26. — Г. З.).

Расстояние на этом чертеже дано примерно, так как место гибели Славы находится у проволочных заграждений, вернее, у самых траншей противника. Подойти туда нет возможности. Трупы Марка и Славы находятся еще там, на поле боя.

Наш район бомбардируют почти каждый день. За больницей Фореля разрушенный совхоз — не так давно мы с Мещеряковым бродили по его руинам. Нашли ручной сверлильный станок. Покрутили его немножко. Осмотрели кладбище сельхозмашин, разбитый скотный двор, груды парниковых рам, другое сельхозимущество. Сколько убытку принесла война!

Позавчера я наблюдал печальную картину: несколько женщин и детей пришли на прошлогоднее картофельное поле и начали собирать остатки полусгнившего, промерзшего картофеля. Немцы открыли огонь по одной из зенитных батарей, расположенных в этом районе. И когда разорвался первый снаряд, женщины и дети в панике заметались.

Вслед за первым снарядом посыпались второй, третий...

Девочка лет одиннадцати с искаженным от ужаса лицом бежала с мешком за плечами и плачущим голосом надрывно кричала: «Мама, мама, мама!..» Мать ее запуталась в колючей проволоке и освобождала свою одежду.

Снаряды рвались сравнительно далеко — в пятистах — шестистах метрах, но их вой, сотрясение земли на неподготовленного человека производит жуткое впечатление. Так было и с девочкой. То она остановится,

смотрит в сторону матери, зовет ее, но как только услышит вой очередного снаряда — пригнув голову, бежит без оглядки по дороге. С нею бежал еще мальчик лет девяти и плакал. А за ними в ста шагах шли несколько женщин. Однако никто не пострадал.

Пусть тяжесть войны ляжет на нас, мужчин. Но для психологии ребенка ужасы войны — слишком большая нагрузка. Эти дети будут нервнобольными людьми. Даже у взрослого человека при вое приближающегося снаряда все сжимается внутри, можно себе представить, что делается в детском сердечке!

4 мая. На дивизионном совещании работников актива военной газеты, посвященном Дню печати, приказом по дивизии я был премирован ценным подарком за свои батальные вирши. В подарке — полный бритвенный прибор, перчатки, носки, полотенце, носовые платки, портянки, толстая тетрадь для записей. Такие подарки получили восемь человек, остальные военкомы премированы 50 рублями, многим вынесена благодарность.

В ответном слове я поделился своими творческими планами.

На совещании, как меня и просило командование, я демонстрировал два образца немецких ручных гранат — с деревянной ручкой и «лимонки». Показал, как надо обращаться с ними. Рассказал, как они нам достались — в бою, в фашистских окопах.

Высоко ценилась каждая крупница боевого опыта. Газета «За Родину!» постоянно выступала пропагандистом военных знаний. «Изучаем трофейное оружие» — эта статья в № 49 летом 1942 года была целиком посвящена ознакомлению с применением немецких ручных гранат — таких, какие показывал на слете военкомов Михаил Вашкевич. Не надо забывать о том, что на Ленинградский фронт прибывало пополнение из тыла, молодые ребята из союзных республик становились солдатами, — все они без промедления должны были перенять опыт, уже накопленный защитниками города.

Военком-разведчик Вашкевич умел и любил разговаривать с новобранцами, со старыми бойцами. В его записной книжке (он называл ее — «Кунсткамера») было записано много поговорок, родившихся на фронте или принесенных солдатами из родных краев загадок, шуток. За некоторыми из них так и видишь лицо говорящего, его улыбку.

«У него было три сына, и все на одну букву: Митрий, Миколай и Микита».

«Знаем, знаем, не обманешь! Знаем, на каком полюсе жарче,— на Южном!»

«Мужик умен, да мир дурак...»

«Был телком, стал клещом, впился в спину, а без него — сгину» (ранец).

«Не губи ты часу с причасками, не погубишь и веку».

«Только накормишь старуху, а она зарычит да выплюнет» (пушка).

«Работаю в редакции газеты...»

БОЕВОЙ ОТЗЫВ

на красноармейца отдельной разведроты 21-й стрелковой дивизии Вашкевича Михаила Федоровича, рождения 1904 года, призыва 1941 года, русского, служащего, беспартийного.

Товарищ Вашкевич М. Ф. за время пребывания в отдельной разведывательной роте показал себя как дисциплинированный, морально устойчивый и непримиримый при уничтожении фашистских захватчиков.

При выполнении боевых задач товарищ Вашкевич своим личным примером, мужеством и смелостью увлекает бойцов.

За время пребывания в ОРР М. Ф. Вашкевич показал себя смелым, решительным и дерзким разведчиком. В одной из боевых разведок М. Ф. Вашкевич под огнем противника вынес с поля боя двух раненых товарищей с их оружием.

Товарищ Вашкевич активно участвовал в политмассовой работе, руководил выпуском окопного журнала и ротной стенгазеты. Пользуется большим авторитетом среди бойцов и командиров.

Командир ОРР — капитан Борисов
Политрук ОРР — политрук Филичкин
25 мая 1942 года.

Такую характеристику дали бойцу в разведывательной роте, а он записал ее в свой дневник: «С ротой разведчиков простился окончательно. С 15 мая 1942 года работаю в редакции газеты „За Родину!“».

Так, начав с заметок, стихотворений, красноармеец стал фронтовым корреспондентом. В семье сохранились газеты — почти весь комплект за 1942 год, где цветным карандашом Вашкевич отметил материалы, которые готовил он. Они дополняют его дневник, и они шире, чем он, ибо газета дает картину жизни на всем участке фронта, который обороняла дивизия. Журналист выходит теперь далеко за пределы своей роты, он чаще бывает и в Ленинграде — ездит за материалами ТАСС, на

совещания военных поэтов, в Ленинградский Дом Красной Армии. И свой дневник он продолжает вести.

30 мая. Мне повезло — два раза был в Ленинграде.

Среди встречающихся на улице людей все еще попадаются страдающие жутким истощением: худые, бледные, с синевой под глазами. Слово «дистрофик» стало нарицательным. Соевое искусственное молоко и вообще все неполноценное называют дистрофичным. Можно, например, услышать такую фразу: «Плохо без огня, хотя бы дали какой-нибудь дистрофичный свет!» Облупленный старый трамвай или автобус встречают также возгласом: «Дистрофик!» или: «У, какой дистрофичный!» и т. д.

Вопросы питания — основа всех разговоров на работе, в трамвае, дома. Выработались какие-то особые термины для разговора. Моя бывшая сослуживица Женя, например, рассказывая о своем дополнительном питании в столовой, на мой вопрос, устраивает ли ее оно, ответила: «Еще бы! Я там имею без вырезки две каши и какой-нибудь гороховый суп!» Это значит — без вырезки талонов из карточек.

Жизнь полна парадоксов! На Невском, на крыльце одного дома сидит девушка; лицо ее накрашено и имеет довольно привлекательный вид, а ноги обернуты какими-то лохмотьями, на руках у нее синяя книга, на обложке золотое тиснение: «Федор Сологуб».

По дороге в город я встретил бойца, который вез на передовую ручные гранаты... в детской плетеной колясочке!

Между прочим, мне в город пришлось идти буквально под визг снарядов. Район улицы Стачек, прилегающие предприятия, жилые дома были под беспорядочным обстрелом артиллерии врага.

1 июня. Был в разведроту. Разведка в ночь на 31 мая прошла очень эффективно: уничтожили до сорока гитлеровцев. Жаль, что опять погибли хорошие ребята: лейтенант Козлов, младший лейтенант Сурин, заместитель политрука Костя Вихляев, красноармейцы Газизулин, Ларионов, Антонов и другие.

Что обозначает эта короткая запись в дневнике? Просто зашел навестить старых друзей? Изучив газету, в которой теперь работал Вашкевич, понимаю: выполнял свою корреспондентскую работу. Мечтаю о факсимильном издании всех фронтовых газет, всех сохранив-

шихся окопных журналов: это сокровища, не знающие сроков хранения. Не говорю уж о том, сколько судеб можно проследить по ним — широко известных ныне и совсем забытых, но для кого-то единственных. Своя глава — фронтовой быт. Тут, между прочим, совершенно так же, как и на любом предприятии, в любом советском коллективе, шла критика и самокритика, газета добивалась, чтобы всюду порядок был — и на солдатской кухне, и в окопах. Сообщала и о сборе металлолома, и о концертах художественной самодеятельности.

Специальных исследований историков (хоть об этом написано немало) ждет огромная целенаправленная работа партийной организации подразделения и каждой части: настойчиво, неуклонно в сознание бойцов внедрялись отвага, мужество, ответственность за судьбу Ленинграда, дерзость, основанная на умении бороться с врагом. Газета стала действенным средством обучения мастерству вести войну.

Вот и военкор Вашкевич побывал у разведчиков не зря: почти весь следующий номер газеты (четверг, 4 июня) — это, в сущности, урок на тему «Овладеем мастерством разведки». И тут уж подробно можно узнать о том, что это была за эффективная разведка. Пять дней готовились разведчики товарища Борисова, вели наблюдение за обороной противника, уточнили расположение его огневых точек, план поиска был разработан всем личным составом группы. Между разведчиками точно распределили обязанности: брать пленного, вытаскивать документы, громить землянку врага, обеспечивать фланги, отражать нападение подходящих групп противника. Каждый знал, где ему двигаться, что делать.

Заместитель политрука К. И. Вихляев (Костя — у Вашкевича в дневнике) во главе отделения захвата бесшумно продвигался к траншеям противника. Ночь была светлая, разведчиков заметил часовой, когда они были всего в двадцати метрах. Тогда Вихляев поднялся во весь рост и скомандовал:

— Гранатами — огонь! В атаку — вперед!

Паника поднялась в фашистском логове, комсомольцы Лузин, Петров и Ларионов вместе с Вихляевым ворвались в траншею противника, гранатами и огнем автоматов уничтожали фашистскую нечисть. Сержант И. Бобровнич прорвался к землянке, куда набились враги. Они пытались закрыть дверь, отпихивали своего замешкавшегося солдата. Сержант подоспел вовремя — брошен-

ная через полуоткрытую дверь противотанковая граната с оглушительным взрывом подняла в воздух толстые бревна настила землянки.

Костя Вихляев тем временем вел огонь, был ранен в правую руку, но продолжал стрелять левой рукой, разрывом мины был ранен вторично. К нему на помощь пришел комсомолец-сержант Лузин. В 150 метрах от наших траншей тяжелораненого Вихляева под сильным минометным и пулеметным огнем приняли старший политрук Филичкин и политрук Абдрозяков. Они вынесли его с поля боя. Костя Вихляев умер героем.

Вот такая это была разведка, и каждый ее этап в газете «За Родину!» был разобран участниками боя подробно.

Капитан И. Н. Борисов писал:

«Анализируя эту операцию, к ее безусловно положительным сторонам следует отнести: 1) тщательную подготовку; 2) отличную маскировку разведчиков, порядок и дисциплину в их действиях; 3) дерзость и беззаветную храбрость разведчиков, обеспечивших разгром превосходящих сил противника. Однако нельзя пройти и мимо отрицательных моментов: 1) отделение поддержки не развило успех отделения захвата; 2) в траншейном бою слишком увлеклись уничтожением фашистов, о пленном начали заботиться лишь в конце операции, когда надо отходить, а брать было некого — кругом одни убитые. В следующих разведывательных операциях надо учесть эти недостатки».

Урок! Настоящий урок. Этот материал для газеты вместе с разведчиками подготовил военкор Вашкевич.

«Это в моей жизни большое событие...»

17 июня. По-старому работаю в редакции газеты «За Родину!» Условия работы очень хорошие. В последние дни живу в тревоге: нет писем от ЗК. Газета выходит через один-два дня. В каждый номер мне нужно давать три — пять заметок или статей по плану редакции. За материалом езжу на велосипеде в подразделения дивизии на передний край. При поездках нередко попадаю в обстрелы. Живу во втором Автове. Частенько мы и просыпаемся от оглушительной канонады. Видим и слышим разрывы вражеских снарядов, которые с шипением летят через наш дом и рвутся в километре за нами, у железной дороги.

Читаю много. Отзывы записываю в отдельную тетрадь.

Вчера был в разведроте. Сегодня меня должны принимать кандидатом в члены ВКП(б).

15 июня. Был в Ленинграде. На улицах те же разговоры — о дополнительном питании, соевом молоке и т. д. Сидя на трамвайной остановке, совершенно посторонние мужчина и женщина сразу заговорили о травах, годных в пищу, вслед за крапивой, щавелем, корнями одуванчика вспомнили еще какой-то «стручок», который растет, «как былинка», — «тоже есть можно».

Обратно шел поздно. Тучков мост оказался разведенным. Я подсел на флотскую полторку, поехали на второй мост — тоже разведен. Улицы пустые, милиционеры на каждом шагу проверяют документы и просят дать закурить. Воронки от снарядов огорожены поломанными кроватями, которых, так же как и печек, очень много на развалинах сгоревших и обвалившихся от бомб домов. Один дом был сплошь огорожен кроватями, как оградой. Пейзаж города напоминает о войне не меньше, чем район больницы Фореля с его бесчисленными воронками от снарядов и ободранными деревьями.

18 июня. Вчера на собрании в разведроте меня приняли кандидатом в члены ВКП(б). Это в моей жизни большое событие. О работе в партии я мечтал давно. Многие часто принимали меня за члена партии и, когда я отвечал, что беспартийный, очень удивлялись.

В своем заявлении я написал: «Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б), с тем чтобы борьбу с немецкими захватчиками продолжить в рядах лучших сынов советского народа — большевиков, зная и честь которых я готов защищать до последней капли своей крови».

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Я, член ВКП(б) с марта 1932 года, партбилет № 2048095, Филичкин Дмитрий Александрович, знаю товарища Вашкевича Михаила Федоровича с 25 декабря 1941 года по совместной службе в отдельной разведроте 21-й стрелковой дивизии НКВД.

Неся вместе с товарищем Вашкевичем боевую службу, за период с декабря 1941 по май 1942 года, я пришел к твердому убеждению, что он, как патриот социалистической Родины, до конца предан делу партии. Будучи в отдельной разведывательной роте, товарищ Вашкевич несколько десятков раз ходил в разведку, показывал личный пример, как нужно действовать. При выполнении боевой операции с 15 на 16 апреля 1942 года,

будучи моим связным, под сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем противника товарищ Вашкевич с исключительной четкостью выполнял все мои приказания, проявляя при этом свою инициативу. Товарищ Вашкевич зарекомендовал себя как смелый, решительный, волевой разведчик. Со своей обязанностью по службе справлялся хорошо. Наряду с этим большую работу проводил по выпуску окопного журнала и боевых листков в нашем подразделении.

Всесторонне грамотный товарищ. Учитывая его положительные качества, я рекомендую товарища Вашкевича принять кандидатом в члены ВКП(б).

Д. А. Филичкин

25 июня 1942 года

Политрук Дмитрий Александрович Филичкин... Дважды я видела в газете «За Родину!» снимки, где он стоит со своими бойцами. На одном из них возле Филичкина — Костя Вихляев, погибший в рукопашной схватке с врагом. Фотографии потускнели, пожухла бумага, а хочется разглядывать лица, ставшие чем-то близкими.

Это ведь Филичкин, идя в разведку, спрашивал (вспоминаю дневник Вашкевича): «Борисов, где люди?» Они шли впереди, политрук и командир. За ними, как белые тени, — разведчики.

В Ленинградском государственном архиве кинофото-документов я попыталась найти снимки, где были бы знакомые из дневника фамилии. Не нашла. Но какие россыпи лиц, военных эпизодов увидела! Как было сориентироваться в картотеке, что выбрать? Узнала, что на «моем» участке обороны работал фотокорреспондент Георгий Коновалов. Стало легче: отбирала по его подписи. В этой книге приводятся снимки Г. Коновалова, иллюстрирующие фронтовые будни тех лет.

В еженедельнике «Ленинградский рабочий» вышло пять выпусков своеобразной фотолетописи «Солдаты Ленфронта». Примерно полсотни снимков. На двух из них люди узнали себя. Оказался жив командир танков Яков Казак. А вот для семьи солдата Павла Петровича Смирнова опубликованный в газете снимок был первой и единственной весточкой об отце. Объявился и второй человек с этой же фотографии. Им оказался командир подразделения Семен Александрович Калинин. Он встретился с семьей своего бойца и рассказал вдове и сыновьям о короткой фронтовой жизни и гибели на Лужском рубеже П. П. Смирнова. Вдова и сыновья знают теперь, куда им прийти помянуть мужа и отца. Так что я теперь получаю поздравления от Смирновых и Калининских к Дню Победы и радуюсь за них.

Слава героям Отечественной войны



Рисунок из газеты «За Родину!».

Можно было бы ведь многим еще помочь, если опубликовать архивы фронтовой кино- и фотохроники. Еще и сейчас не поздно: узнали бы себя и близких, знакомых немало людей, увеличилась бы от этого в народе память и гордость за их дела.

«Мы и любили его нежно...»

Заканчивался июнь — исполнялся ровно год со дня начала войны. 22 июня фронтовая газета 21-й стрелковой дивизии НКВД «За Родину!» вышла с плакатом: «Слава героям Отечественной войны!» Пять рисованных портретов увенчаны ветвями лавра, пятиконечными звездами: Герой Советского Союза Николай Руденко, мастер штыковой атаки лейтенант Шихов, девушка-снайпер София Мицкевич, отважный разведчик Ростислав Хотинский, бесстрашный истребитель Загед Рахматулин.

Лучших, мужественных называли в этот день, на чьих подвигах воспитывались новые бойцы дивизии, кого помнили и чтили в героическом подразделении.

...Старший политрук Николай Матвеевич Руденко, кадровый военный, орденосец, участвовал в советско-финской войне. День начала Великой Отечественной встретил в Карелии. 3 августа 1941 года он вместе с ротой бойцов оборонял высоту близ станции Хиитола. Бой-

цы держались стойко, но силы таяли. Вражеские снайперы и автоматчики стреляли с деревьев, из засад. Старший политрук взял снайперскую винтовку: он знал повадки «кукушек» и понимал, что они не отстанут, пока их не снимешь. А был он в полку лучшим стрелком, и вскоре замолк десяток огневых точек врага. Однако фашисты лезли на занятую ротой высоту. Погиб командир, погиб заменивший его лейтенант, старшим по званию остался Руденко. Он поднимал бойцов в атаку несколько раз. Десятки гитлеровцев упали на склонах высоты. Но погибали и наши бойцы. Руденко был ранен, он лег за пулемет, но вскоре понял, что ленты на исходе. Шел бой. Руденко по кустам спустился вниз, убил фашистского пулеметчика и, развернув его пулемет, открыл огонь по врагам. Он был ранен вторично. Тогда к нему подобрался боец-инструктор Анатолий Кокорин, перевязал политрука, и тот снова лег за пулемет. Вскоре Руденко услышал крики фашистов, увидел — Кокорина окружили! Бросился ему на помощь, но был отброшен взрывной волной: Кокорин последней гранатой взорвал себя и врагов. Бойцы вынесли политрука с поля боя. В госпитале он узнал о том, что ему и Кокорину (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза.

После госпиталя Руденко сражался под Москвой, но его судьба — в истории дивизии. Руденко прошел всю войну, был награжден вторым орденом Красного Знамени, в мирное время служил в Вооруженных Силах.

Жив и сегодня Загед Рахматулин. Он был в той, знаменитой теперь, группе снайперов Ленинградского фронта, которой 22 февраля 1942 года в Смольном были вручены именные снайперские винтовки с оптическим прицелом — подарок ленинградских рабочих — и правительственные награды. Ордена Красного Знамени тогда получили И. Добрик, Е. Николаев, З. Рахматулин, И. Карпов из 21-й стрелковой дивизии НКВД.

Широкая слава была у снайпера Софии Мицкевич, у мастера штыковой атаки Шихова, сержанта-разведчика Хотинского.

Михаил Вашкевич в эти дни вспоминал своего друга: «Думаю о нем часто, многие факты неожиданно всплывают в памяти, и, пока они не выветрились, я хочу записать. Вот два эпизода, рассказанные мной о Славе Хотинском в письме к его близкой знакомой Асе:

*...Вы правы — Слава умел вдохновлять людей!
Был всегда бодрым, веселым товарищем, смелым и*

решительным командиром. Среди бойцов он пользовался огромным авторитетом и любовью. Слава был человеком глубокой мысли, большого ума, эрудиции, был в известной степени поэтом, мечтателем, философом в душе, что я в нем особенно любил.

Помню, сидели мы со Славой в укрытии, земля дрожала от артогня, спать было холодно, да и тесно — не лечь. Когда немного утих огонь, Слава сказал нам: «Пойдемте копать окопы!» И мы пошли на участок нашей обороны.

Была лунная ночь. Звезды и облака по горизонту. Взявшись за лопаты, мы быстро согрелись, а когда устали, Слава, вытирая лоб, поглядел на небо и сказал мне: «Смотри, как красиво! Сколько образов в этих облаках. Вот плывет дракон, здесь — похоже на льва, а там какая-то огромная птица... Нет-нет, ты сюда посмотри. Видишь, как будто море и плывут каравеллы Христофора Колумба!»

Разве можно когда-нибудь забыть эту ночь?! С какой радостью смотрел я тогда в его лицо. И меня увлекал полет его мысли, его обаяние. Если бы я был женщиной, то только такой человек, как Слава, был бы моим идеалом. Мы и любили его нежно, как обычно любят женщины, потому что у Славы было доброе, мягкое сердце и со всеми нами он был всегда ласков, заботлив, предупредителен и чуток.

Помню и другую ночь. Финский залив. Лед. Мы с гранатами ползем к вражескому проволочному заграждению. Два часа бесплодно ловили фашистского ракетчика, настроение у бойцов отчаянное — идти напролом! Но Слава не разрешил этого... Мы не пытались послушаться его, но нашелся один товарищ — своего рода комиссар группы (храбрый, замечательный человек Володя Пермиловский, он умер впоследствии от тяжелого ранения почти на руках у Славы), который сказал более решительно: «Надо идти вперед. Мы не можем возвратиться без ничего!» Он пополз к проволоке. Тогда Слава скомандовал ему: «Назад! Не разрешаю двигаться — там смерть!» И только он прошептал это (громко говорить было нельзя — мы были под носом у врага), как взвились две ракеты, осветили равнину, где мы лежали, и тут же забили три пулемета! Пули свистели над головами, мы прижимались ко льду, осветительные ракеты падали между нами, приходилось отодвигаться, чтобы не сгореть... «Вот видишь!» — прошептал Слава Володе.

Говорить было нечего! Мы два часа не могли поднять головы и около пятисот метров должны были отползать по одному, по-пластунски... Он берег своих товарищей! И погиб, прикрывая их отход! Если бы в последней разведке пришлось участвовать мне — лежать бы нам со Славой рядом, я его никогда не оставил бы одного. Именно так погиб и студент Марк Гейликман...

Три дня в доме Марка

— Вот это и есть наш «Степка-растрепка», видите, как он нарезается: вот так, вот так и вот так.— Анна, старшая из двух сестер Марка, разрезает на ромбики трехслойный пирог, посыпанный коричневой крошкой, ромбики на тарелке быстро складываются в цветок.— Мама решила, что вы обязательно должны его попробовать.

Я понимаю, что сегодняшний «Степка» предназначен такому множеству людей, что если бы они могли — на счастье! — здесь собраться, то цветок на блюде составил бы из нескольких десятков лепестков, а теперь их, может быть, восемь — как нас за столом.

— Они любили этот пирог. И сейчас, как только соберутся у нас, обязательно подавай им «Степку». Не знаю уж, почему так называли, но с детства — подавай «Степку»!..— поясняет мне Минна Марковна.

И я не смогу теперь просто так вспомнить этого «Степку», и даже испечь его не смогу, хоть совсем несложен рецепт. Нет уж, пусть это будет только ваш торт, дорогая Минна Марковна, только ваш, как его помнят ваши дети и друзья Марка.

Потребовалось больше полугода, чтобы из Ленинграда, через несколько рук и уст, добрался почтовый конверт до Пскова и попал к младшей сестре Марка — Юлии. Когда старший брат Марк уходил на фронт, ей было всего три года, когда он погиб — шел пятый, а теперь ее собственный сын носит то же имя.

В Псков я приехала по письму Юлии. Она писала:

«В вашей газете «Ленинградский рабочий» за 26 марта 1982 года в рубрике «О времени и о себе» помещены страницы дневника ленинградца Р. Хотинского и строки писем его фронтового друга М. Вашкевича. В письмах рассказано о гибели Хотинского и бойца его группы Марка Гейликмана, дана схема места их гибели. Марк — мой брат. Аналогичное письмо о гибели брата с такой

же схемой места последнего боя мои родители получили от М. Вашкевича в 1942 году.

После войны старшая сестра дважды побывала на этом месте, но мы до сих пор так и не можем разыскать могилу брата.

В нашей семье чтят память о Марке. Сохранились его фронтовые письма. В Праздник Победы везем цветы к обелиску, установленному во дворе Ленинградского технологического института имени Ленсовета, где среди имен студентов, отдавших жизнь за Родину, есть и его имя».

Три дня я провела в Пскове и хочу рассказать о них так, как они проходили.

...На день первый, пятницу, уже была назначена встреча в доме родителей Марка с его друзьями. Но прежде мы с Юлией отправились на окраину Пскова, где возле старого кладбища — оранжерея. С пяти вечера здесь заступала на дежурство одноклассница Марка Лидия Андреевна. Мне хотелось расспросить ее о юноше, про которого я пока ничего не знала, кроме того, что писал М. Вашкевич.

Мы пришли немного раньше назначенного часа и потому отправились к белой невысокой церкви за старинными воротами, откуда слышалось тихое пение. В притворе меня поразило то, как были, по старым, видимо, контурам, прописаны сцены из писания: большие плоскости покрывали их, напоминая о полотнах Леже. В невысокой побеленной зале справа от иконостаса на длинных составленных вместе столах горели тонкие свечи, воткнутые... в груды тесно поставленной еды. В полиэтиленовых, приоткрытых сверху пакетах виднелись банки с творогом, молочным киселем, яблоки, булки, плюшки, пряники, прижатые рядом, стояли по краю стола буханки хлеба. Предстояла родительская суббота.

— Вот память,— сказала Юлия, покачав головой, и вздохнула,— как хочется накормить их, ушедших так далеко...

Мы вышли на кладбище, пройдя мимо нескольких оградок, оказались возле черного мраморного надгробия с надписью золочеными буквами-скобками.

— Здесь похоронен наш дедушка,— сказала Юлия.

Лидия Андреевна уже шла нам навстречу. Руку она подала твердо, что свидетельствовало о ее самостоятельности.

— Ну что ж о Марке... Да, и о классе. Класса такого другого нет, конечно! Многие годы класс собирается в

майские праздники — так удобнее, больше свободных дней, могут приехать и те, кто живет далеко. Начали собираться, когда нам исполнилось по сорок. Первый раз собрались — не узнавали друг друга! Теперь же кажется, что мы те же, что и были в юности, и друг без друга так же, как и тогда, — невозможно. Особенно трогательной была встреча по поводу тридцатилетия выпуска. Тогда школа собрала все поколения своих воспитанников, и под плакатом «Выпуск 1937 года» шло больше всего народу. Да, все, кто жив. Всех разыскали, все прибыли. А на войне из класса погибло четверо. Классная руководительница Софья Ивановна Вознесенская тогда на встрече старших с нынешними школьниками сказала: «Сегодня среди нас нет тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Прошу почтить их память вставанием». Дети из шестого «а», принимавшие гостей, написали потом сочинения: «Хочу быть похожим на выпускников 1937 года».

Не знаю, что нас сплотило. Может быть, сами были такие. — Лидия Андреевна берет сигарету. Она высокая, по-спортивному стройная. На ней синий берет, серое пальто прямого покроя. Она ведет нас в комнату перед оранжереей, и мы сидим там и разговариваем за покрытым клеенкой столом. Пахнет землей, астрами. — Что сплотило?.. Вот, например, кончали мы десятый класс, а Валя Чернышев заболел и оказался прикованным к постели. Помню, он лежал в саду, и мы к нему приходили. Мы его и на майскую демонстрацию повезли — машину достали. Валя Жукова тоже много болела, так ее весь класс опекал.

А Марк... Мы подружились с ним, пожалуй, больше в Ленинграде. Он учился в Технологическом, я — в ЛИИЖТе, но он часто заходил ко мне в общежитие. Завхватит кого-нибудь из наших (многие ведь в Ленинграде учились) и идет. А однажды весь класс у меня собрал, и наша вожатая Зина пришла.

Как-то был такой случай. — Лидия Андреевна улыбается себе самой. — Отец мне сказал, что, если поступлю в институт, могу обрезать косу. Вот я и обегала все парикмахерские, но никто эту косу резать не соглашался, в последней один решился. И вот я стучу. Марк открывает дверь и по привычке — руку мне за спину, чтобы дернуть за косу, а рука скользнула по спине... Как они лупили меня!..

Хорошо помню — с финской войны мы встречали эшелон лыжников. Марк ведь пошел добровольцем, на-

ши ребята из института тоже ушли. Весь город их тогда встречал с войны. Площадь у Финляндского вокзала заполнена народом, только проход посредине оставлен. Они шли строем, в белых полушубках. Без лыж. Мы стояли на мосту. И вдруг из строя — Марк! Он тогда мне рыжую кошку с войны привез. «Только, — говорит, — с ней надо по-фински говорить, она иначе не поймет». Долго у нас она жила, эта кошка...

Марк мне потом билет принес на вечер бойцов лыжных батальонов во Дворец культуры имени Капранова. Но там я его не встретила — очень много народу было. Помню, пел Касторский и нас поднял хором петь «Дубинушку».

— Лидия Андреевна, — спросила Юлия, — а не знали ли вы подружку Марка, девушку из Белозерска? Мы прочли в дневнике Вашкевича, его фронтового друга, что ему писала однокурсница...

— Из Белозерска? Нет. Не знала. Да и зачем ему было приходить ко мне с девушкой? Нет, не знала... Какой он был? Хороший! Хороший парень, умница, добрый, любил пошутить, поиздеваться. Звал меня — «Ефим в наушниках». Ефимова — моя девичья фамилия, и прическа у меня была такая: я косы на уши накручивала...

Мы всегда все вместе были. Очень сильный класс. Все поступили в институты, за исключением Лизы Никитиной: она поехала к брату в Кострому и задержалась, не успела сдать экзамены. Лиза Никитина всю войну провела, под минометным огнем обморозила легкие... Коля Вебс недавно скончался — на войне был ранен в позвоночник. Андрей Ризоположенский... Я сейчас вспомню — по партам...

— А с кем наш Марк сидел?

— С Володей. А я — напротив. Передо мною — Юра Трифионов... Все хорошие были! Везде вместе. У Марка собирались, у меня. Мы все вращались около Дома пионеров, в детском Парке культуры и отдыха... Начнешь письма смотреть — больше вспомнишь. Ехали на лодках, а потом рассорились, а почему? Не припомнить. Аттестат с золотой каемочкой (тогда медалей не было) получили Марк, Моля, Вовка, Нина... Вовка звал Молли Махлей, она была в него влюблена, а он — нет. Вообще-то она неплохая была девушка, но держалась несколько жеманно, на нашем фоне казалась барышней... А кто же пятый?.. Пятеро ведь получили отличные аттестаты.

— А Марк любил кого-нибудь в классе? — спрашивает Юлия.

— Не знаю...— Наша собеседница улыбается своей юности.

— Познал ли он хоть это чувство? — вздыхает серьезная Юлия.

— Познал, познал...— отвечает ровесница Марка.

А вечером мы собрались в доме Марка, и он был в этой комнате в воспоминаниях матери, отца, сестер.

— Есть такие люди, о которых и один раз вспомнить не надо. А этот...— Старый человек в кресле у окна закрывает глаза и поднимает брови, и это обозначает, что никаких долгих лет не хватит, чтобы перестать вспоминать о сыне.— Нам говорят: зачем нужно вспоминать его день рождения — только тревожить себя. Но мы считаем — он должен быть с нами в этот день, должен быть дома.

— Я очень болела и все ждала, что вот приедет из Ленинграда Марк — и я сразу выздоровею,— вспоминает Анна.— Мы ведь были очень дружны, хоть я была моложе на три года, он брал меня всегда в свою компанию, я росла с его классом. Но брат все не ехал, и уже вызвали «Скорую помощь», меня несут на носилках по лестнице... И навстречу — Марк! Только что с вокзала. Он взял меня на руки и понес. После я слышала, как женщины в палате говорили: «Какая молоденькая, а уже замужем!» — не могли представить, что это брат сидел ночами рядом со мною.

— Как болела, как болела! Это только нам известно, сколько в нее вложили, и вот — дотянули. А Марк... Если бы был Марк! — говорит мать, женщина с тонким лицом, белоснежными волнистыми прядками, зачесанными за уши, худенькая и легкая. Она рассказывает, как он приходил домой и их обоих, отца и мать, брал под руки: «Мои дорогие! Мои дорогие!» Такой был любимый мальчик... трудно передать...

Но это уже и все, что смогла сказать в тот вечер Минна Марковна, потому что лихорадка стала трясти ее, дочери уложили ее в постель в соседней комнате, включили грелку, понесли чай.

Мы спешили оставить дом, чтобы дать покой матери Марка. Она ведь встала с постели, когда мы пришли. Седые одноклассники поздоровались с отцом Марка, расцеловали мать и сестер. Они тоже фронтовики, вспо-

мнили довоенные осоавиахимовские учения. Псков был городом приграничным, школьники участвовали в этих учениях, были связными-велосипедистами.

— Да мы и уходили из дома, взяв только велосипеды,— вставил слово хозяин дома.— Ничего не захватили больше, вот, в рубашке и тапочках.

— Марк взял еще Юлину вышитую сумочку,— добавила Анна,— очень он любил Юленьку.

— Мы уходили из Пскова последними,— продолжает отец Марка.— У нас была договоренность, что Минна (она уехала с младшими детьми и моими родителями раньше нас) будет оставлять мне письма на каждой станции. Проедет Опочку — оставит письмо. Проедет Остров — опять оставит письмо на «до востребования». Стратегия! — говорит он, вздергивая подбородком.— И я знал, что они живы...

Из эвакуации они возвратились в Псков, как только его освободили. Дома и улицы не было. Жизнь надо было начинать заново, старыми остались только друзья — свои и Марка. Своих сверстников теперь уже нет, а постаревшие ровесники сына приходят в дом к его родителям.

Разговаривали мы с ними уже по дороге, простившись с родными Марка. Синева, проступившая на лице матери, то, как она выпрямилась в кресле,— пугали, не шел разговор.

А наутро, к счастью, все обошлось. Врач «Скорой помощи» так и сказала: «Это нервы».

Когда Юлия хотела пригласить меня обедать к себе (она с семьей живет отдельно), Минна Марковна твердо сказала: «Это моя гостья!» И как я была рада, увидев ее выходящей из комнаты мне навстречу!

Мы гуляли с друзьями Марка по вечернему Пскову, и они вспоминали, как жгли костры на Островах, как в столетие Пушкина ставили спектакль, в котором Марк играл Мельника...

— Когда в выпускном классе Володя Эрглис остался без отца и матери (их арестовали в тридцать седьмом году), наша классная руководительница Софья Ивановна каждое утро заходила за ним и вела его в школу. Или Марк заходил...

— А помнишь, как Галина Васильевна тебя письмами бомбардировала? — напомнили бывшему мэру Пскова.

Учительница истории Галина Васильевна Проскурина писала ему: «Леня, не разрушай Плехановский Посад!»

— Да, учителя наши на всю жизнь остались для нас учителями...

— Мы все были тогда физкультурниками и на финскую войну пошли как лыжники. Это была первая прикидка — на доты шли в открытую, и нас косили из минометов. Потом, на Отечественной, нас считали опытными командирами.

Старинный Псков... День второй мы провели с Юлией в городе, обойдя его кремль, рынок, набережную реки Великой. Белые церкви с зелеными и серыми луковичами глав стоят посреди новой застройки, чаще в сквериках, а то и просто во дворах. Они побеленные, но пустые, либо же заняты под склады. Стены у них снаружи не кирпичные и не заглаженные штукатуркой, а как бы руками по мокрой глине ошлепанные, а потом побеленные мочальной кистью. Под куполом — непрременный ободок с отверстиями и названиями: «Геorgia на Взвозе», «Петра и Павла с Буя».

Юлия провела меня вдоль кремлевской стены, показала, где узкая Пскова впадает в Великую. Тут-то и стояли решетки, предназначенные останавливать вражьи суда от входа в город-посад. «У решеток», — говорят привычно во Пскове. У решеток нашел Саня Григорьев тетрадь с записями капитана Татаринова (каверинские «Два капитана»). У решеток любили собираться одноклассники Марка. Они и жили неподалеку, на улице Единства. Улицы теперь нет. На нынешней рыночной площади, возле древней церковки Петра и Павла с Буя, построенной в 1373 году, возле кремля и рек Псковы и Великой проходило их школьное детство.

Где-то тут торговал мороженым известный всем детям Томас. Мороженое тогда накладывалось на круглую металлическую форму, а потом выталкивалось оттуда с помощью донышка, прикрепленного к металлической ручке. Наслаждением было наблюдать, как мороженщик оглаживает ложкой края формы, как он выбирает из груды вафель две — с твоим именем...

Псков. Я бродила потом по нему и одна. Видела гимназию, в которой учился Юрий Тынянов... Взбиралась на башню, с которой далеко внизу видна река Великая и на ней — оранжевые байдарки. В тихих залах музея стояла перед картинами. Сегодня написать подобные им уже нельзя — столько в них покоя. Здесь небольшое полотно Марка Шагала: молодые мать и отец купают ма-

лыша — синее покрывало кровати, серая ванна, зеленая печь, ощущение тепла и ласки исходит от тельца ребенка. Старый Париж на картине Бориса Григорьева. Яркий «Привал комедиантов» Судейкина — синие листья, красные шатры. И совершеннейшая тишина летнего дня в картине Роберта Фалька «Розовый капот»: деревья необычайно высокой стеной заслоняют от всего крохотную часть мира, где внизу, под их сенью, у стола в лиловой тени отдыхают две женщины. Об этом думалось еще и потому, что сейчас родные Марка читают летопись воинского пути батальона разведчиков, в котором воевал и пал смертью храбрых их сын.

Оставшись одна в гостинице, я задвинула темные красные шторы, зажгла настольную лампу и открыла специально, видимо, сделанную, размером в школьную тетрадь папку с завязками, в которой хранились письма Марка, которым было почти полвека...

19 августа 1941 года

Здравствуйте, дорогие!

Со мною все в порядке: жив и здоров, самочувствие бодрое и хорошее. Погода типичная ленинградская, осенняя. Но нам-то она привычна, а немцам, пожалуй, похуже нашего приходится. Ну, мое местоположение все время, конечно, меняется, но все время вблизи Ленинграда. Адреса обратного еще не дали. Что писать, больше не знаю, но только скажу вам, что фашист под моим городом получит трепку и в городе не будет.

Привет. Целую вас всех. Марк.

23 августа 1941 года

Здравствуйте, дорогие!

Как вы живете? Как дела? Я жив, здоров, бодр,— что еще нужно? С врагом пока здесь стычек не имел, но я думаю, что все еще впереди. В городе Ленина ему не бывать и не видать его, как своих ушей. Шагу назад мы не сделаем больше.

У всех настроение боевое, прекрасное и желание бить — бить до конца. Смерть или победа!

Привет всем. Марк.

9 октября 1941 года

Сидим в запасе. Фашист обстреливает дальнобойной артиллерией и бомбит, а соприкосновения непосредственно еще не было. Надоело ждать. Привет. Марк.

На обороте открытки приписка:

Меня перевели в разведку. Теперь я с ним встречаюсь. Адрес: ДКА, 15 ППС, п/я 60, 1-я рота.

14 октября 1941 года

Был я на днях на наблюдательном пункте — следил за поведением противника. Иногда он подвергал наше укрытие минометному и артиллерийскому огню, но к этому мы привыкли и, не обращая внимания на близкие иногда разрывы, продолжаем наблюдения. Вообще пока, как вы знаете по газетам, враг, несмотря на огромные потери, рвется к городу, но не сможет двинуться ни на метр. Его не пускают и не пустят. Путь ему один — назад. К победе над врагом путь нелегкий, и борьба впереди еще очень трудная...

Марк пишет родным чаще всего открытки — несколько слов о себе, больше вопросов о том, как живут они в эвакуации. Иногда среди открыток встречается письмо — тогда мы можем подробнее узнать, чем он занят, о чем думает.

21 октября 1941 года

Учись, дорогая Аня, как следует. Уж если быть фельдшером, то быть хорошим, знающим специалистом. Я думаю, тебя не надо убеждать в этом.

Адя, а тебе, кроме того, надо готовиться к защите Родины, следовательно, каждый день заниматься физкультурой, обтираться холодной водой, закалять свое тело. (Младший брат Аркадий после гибели Марка добровольцем ушел на фронт. — Г. З.) То, что в мирное время я немного позанимался, сдал ГТО II степени, сейчас сказывается. Мне легче переносить все трудности и тяготы военной жизни, чем многим, пришедшим без физической подготовки. Конечно, достается и мне, нагрузка большая, задания часто бывают очень нелегкие, в походах плечики наминаются, и груз чувствует-

ся на ногах и во всем теле. Как я уже писал, я попал в отдельный разведывательный батальон своей дивизии, и сейчас я обычный красноармеец-разведчик.

Анюша, ты береги здоровье, пожалуйста, и не беспокойся обо мне. Кто прошел финскую, тот выживет и здесь, хотя война и труднее, и сложнее. Скоро на лыжи! Здесь уже выпадает иногда снег, морозы небольшие, одеты мы тепло, кормят хорошо, хотя положение на Ленинградском фронте серьезное. Верно, вперед они не двигаются, инициатива переходит часто к нашим частям, но все же враги на ближайших подступах, прямо у «ворот» города Ленина.

Дорогие отец и мать! Конечно, мне жизнь дорога и жить хочется, ведь по-настоящему еще и не жил, но уж если придется туго, то знайте, что постараюсь за себя отомстить и жизнь свою отдам дорого, так же настроен весь наш народ, все бойцы, и Ленинграда немцам не видать.

Марк.

6 ноября 1941 года

Здравствуйте, дорогие родные! Вот и канун великого праздника! Как и тогда, встал Петроград на завоевание свободы, чести, за Родину. В Ленинграде, как всегда, поднялся весь народ, от мала до велика, работают с огромным напряжением и энергией, ленинградцы делают все, что только требуется. Мы же на «отлично» выполняем поставленные перед нами задачи, бьем, где только возможно, этих извергов, чудовищ в человеческом облике. Я не хотел убивать, но на кровь можно отвечать только кровью. Ведь они во Пскове дошли до виселиц,— это, отец, ты знаешь.

Пока. Целую. Марк.

20 ноября 1941 года

...Как здравствует Карпуз? Я очень часто ее вспоминаю, мою маленькую сестренку, хитрую, как лиса, и такую уморительную. Что же писать о себе? Все время в полной боевой готовности, то есть спим не раздеваясь, есть время — сушусь, переобуваюсь. Вообще, ничего страшного нет, болезни на фронте не пристают. Настроение вообще очень хорошее, иногда ходим в

очень интересные задания, подчас сопряженные с большей опасностью, чем у бойцов на передовой, сидящих в окопах. За меня не бойтесь, я попал в умную, деловую, смелую компанию людей хороших и умеющих мстить, не теряя своей жизни и крови. Погибать никому из нас неохота. Но уж если придется... О вас, я думаю, не забудут, да вам вообще не стоит писать таких слов. Адя и Аня, я надеюсь, что и вы, и Юленька воспитаны в таком же духе, как ваш немного «тронутый» братишка.

24 ноября 1941 года

Здравствуйте, мои дорогие мамочка, папочка, Аня, Адя! Целуйте за меня много-много-много раз Юленьку. Со мной все в порядке, но начинает давать себя знать и усталость — ведь все дни и ночи в ответственных заданиях, где подчас такое напряжение нервов, так надо держать себя в руках, что после выполнения чувствуешь дьявольскую усталость. Спать приходится мало, отсыпаться будем в мирное время.

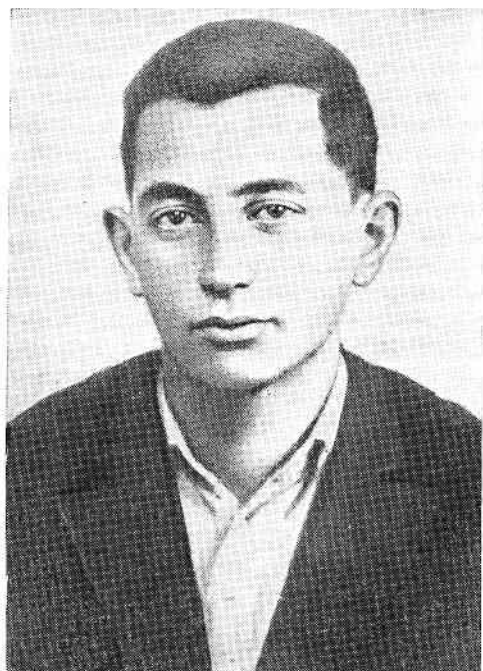
Фашисту не даем покоя ни днем, ни ночью. Он боится: часовых и патрулей выставляет много, все время освещает свою линию ракетами и стреляет в пространство из автоматов, пулеметов, при малейшем шорохе открывается бешеная пальба, но все же когда надо, то враг нас не видит, хотя и близко находимся.

Привет всем! Целую вас крепко. Марк.

30 ноября 1941 года

Здравствуйте, дорогие! Ну, могу вам написать, что жив, здоров, несмотря на то что побывал в нескольких сильных перепалках. Были и минометный, и артиллерийский огонь, и пулеметы, и автоматы, и все это при ярком свете ракет. Верна примета: «Храброго пуля не берет!» Только благодаря тому, что замечательный командир, что никто не шелохнулся, не побегал от врага, я с товарищами вышел из очень опасного места. Если действуешь храбро, дерзко, с головой, то ничего тебе противник сделать не может.

На следующем, написанном в ноябре 1941 года, письме, на его первой страничке — рисованный карандашом портрет Марка: юноша в ватнике, в зимней шапке со



Марк Гейликман.

звездочкой. Полные губы, грустные светлые глаза, густые брови. На обороте сделанного профессионально, тонким карандашным штрихом рисунка в размер почтовой открытки — письмо:

Дорогим папочке, мамочке, сестренкам и братишке от любящего их сына и брата.

Исполнилось 22 года.

Я даже забыл день рождения и вспомнил лишь несколько дней спустя, что в день своего рождения я находился в нескольких метрах от бандитских пулеметов, которые били по моей группе трассирующими, зажигательными и другими пулями... но вреда не принесли, хотя мы были на льду и в воде.

Повезло, скажу честно.

Постараюсь жить подольше, вреда врагам тоже побольше принести.

Ваш Марк.



Марк Гейликман.
Рисунок его боевого
друга.

3 декабря 1941 года

Здравствуйте, дорогие!

Часто-часто вспоминаю вас всех, таких родных и близких, сознаю, что вы там сильно тревожитесь, я вас вполне понимаю, стараюсь делать все, что могу, чтобы вас успокоить. Но вы понимаете, что в час опасности моя жизнь принадлежит Родине, которая дала мне все и которой я должен сейчас отдать и кровь, а в случае надобности и жизнь, так как поставлена на карту судьба ее.

Ничего, дорогие родные, я надеюсь, что встретимся с вами всеми живыми и невредимыми, вспомним трудности и невзгоды, оставленные позади, и заживем замечательной жизнью на нашей счастливой земле, за которую я сейчас дерусь, не жалея самого себя.

Бывает на войне всякое, могут и убить, но только не увидят меня пленным и бегущим с поля боя. Я был уже в нескольких боевых разведках и понял, что пишу вам вышеприведенные строки не из головы, не из желания похвастаться и покрасоваться.

Да... нелегко было.

Враг хитер, изворотлив и труслив до невероятности. Ползаешь всю ночь, иногда в воде, лежишь без движения часами под пулеметным, минометным огнем при ярком свете ракет, для того чтобы подобраться к нему. Служба требует нервов, физического и умственного напряжения, так как делаешь большие круги, ползаешь не один километр. Сами понимаете, что ползаешь с винтовкой, патронами, пятью-шестью гранатами и иными «подарками» для бандитов. Ничего фашист не жалеет — ни пуль, ни мин, ни ракет, ни снарядов, — лишь бы не встретиться лицом к лицу с дерзким, смелым разведчиком Красной Армии. Иногда он всего от нас «вкушает», иногда приходится отходить, если видишь, что тебя заметили, по тебе бьют и лезть нет никакого смысла, кроме того, что погибнешь без пользы для общего дела.

Погода стояла оттепельная, сыро и мокро под ногами. Сейчас снова начинает подмораживать, выглядывает зимнее солнышко и земля проглядывает — вся в воронках, щелях, окопах, землянках, такая иногда неприглядная, но такая спасительная и родная земля. Был в былинах Микула Селянинович — у него вся сила от земли была. Так и у нас. Чем ближе к ней прижмешься, закопаешься глубже, тем ты сильнее, тем меньше опасности для тебя, чем злее враг, тем больше он тратит сил и нервничает до невозможности и трусит, как шакал.

Тетя Аня! Я если попаду в город, то наведаюсь в комнату вашу; постараюсь зайти в домохозяйство и сделать все, что надо, чтобы все было в порядке, в целости и сохранности, если, конечно, в ваш дом не попадут вражеские «гостинцы».

А они бывают иногда.

Враг не хочет щадить никого — ни детей, ни женщин, ни стариков, ни самого замечательного и красивого города.

Ленинград преобразился, опоясался баррикадами, окопался, укрепился и, несмотря на большие трудности, не падает духом.

Желаю вам всего наилучшего. С приветом. Марк.

Если вам пишут мои школьные товарищи, то ответьте им.

7 декабря 1941 года

Здравствуйте, дорогие родные!

Я жив и здоров, хотя достается это нелегко. Это не нытье, не жалоба, а просто, я бы сказал, информация. Как у вас дела? Я на днях послал вам заказное письмо, куда вложил портретик — меня рисовал один из товарищей.

13 декабря 1941 года

Сегодня получили радостное известие о разгроме врага под Москвой. Радостно, и дышать легче стало. Но это только начало. Скоро, скоро Ленинград будет совсем свободным, и будем врага бить здесь так, как не били его нигде и никогда. Впереди большие битвы, много трудностей, но теперь это по-другому воспринимается. Думаю, весь народ радуется вместе с нами.

Я бодр, здоров, хотя немного и утомился, но сегодня все это сняло, как по волшебству.

22 декабря 1941 года

...Напряжение и усилия ленинградцев не поддаются описанию — каждый гражданин и воин переносит то, что никто не переносил и, пожалуй, не будет переносить, кроме лишь захваченных врагами мирных и военных людей. Надеюсь и думаю, что днями страдания уменьшатся во много раз. Испытаний много впереди, и я хочу, чтобы вы не беспокоились, если долго не будет связи.

26 декабря 1941 года

Здравствуйте, дорогие родные!

Как вы живете, как здоровье?

Скоро 1942 год, год, который должен принести победу, и, Аня, я надеюсь, что твой день рождения справим в мирной обстановке.

11 января 1942 года

Милые родные! С Новым годом! Желаю всего наилучшего, скорейшей встречи всех родных.

1942 год — год разгрома и победы над врагом. Постараюсь приложить все силы для этого, тем более что

я нахожусь в разведке — там, где требуется много воли, дерзости, инициативы, азарта, ненависти к врагу. Желаю успехов Ане! Желаю успехов в работе на пользу Родине всем остальным.

Что ж о себе? Здоров и бодр, командование не ругает, а, наоборот, даже поощряет, имею много благодарностей. О всем, что творится, знаете по газетам.

Вступил в ВКП(б).

В последнем письме от 14 января Марк написал родным: «Моя жизнь течет, как обычная жизнь на войне. Тяжело, но знаешь, что без этого не может быть победы, лучшей жизни. Приняли меня кандидатом в члены ВКП(б) — значит, дерусь неплохо».

Следующий документ — с печатью отдельного разведывательного батальона 21-й стрелковой дивизии оперативных войск — датирован 19 марта 1942 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Гейликман М. И., уроженец города Пскова, в бою за социалистическую Родину, верный присяге, проявив героизм и мужество, был убит 28 января 1942 года.

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии.

В этом совсем небольшом по размеру листке со стандартным текстом среди нескольких возможных на войне и перечисленных бед была подчеркнута та, которая случилась с Марком: убит.

Письма Михаила Вашкевича рассказали родным о том, что произошло, по-иному — сочувствием смягчая их боль.

В газете «За Родину!» от 21 марта 1942 года была опубликована заметка, где среди прочих бойцов, ставших коммунистами на фронте, упомянут Марк Гейликман: «Доброволец Красной Армии, студент-химик, ставший в дни войны отважным разведчиком, товарищ Гейликман перед выполнением важной боевой задачи передал парторгу следующее заявление: „Я желаю идти в бой коммунистом. Клянусь, не щадя своих сил, а если понадобится, то и жизни, бить фашистских бандитов, мстить им за все несчастья и мученья, которые они несут с собой, буду отважно и бесстрашно драться за счастливое будущее человечества“».

Он не успел получить кандидатскую карточку: погиб, выполняя боевую задачу. Клятву свою он свято сдержал — не пощадил своей жизни для народного дела.



Обелиск в память студентов ЛТИ имени Ленсовета.

Несколько писем Михаила Вашкевича хранятся в той же папке, где и письма Марка. «Сам я старше Марка почти вдвое, — пишет он. — Однако мы были с ним друзьями. Я любил его за светлый ум, доброту к людям, высокие качества бойца».

...Я ухожу из дома, куда три дня приходила. Целую беловолосую Минну Марковну, прощаюсь с отцом Марка. Они расспрашивают напоследок о Вашкевичах: сколько лет Зое Ивановне, сколько детей у Майи Михайловны, пусть приезжают в Псков. Сестры уже прочли фронтовой дневник Михаила Вашкевича, который я им привозила, и теперь знают, как воевал, с кем дружил, как погиб их брат.

— Если бы только узнать, где его могила, — говорит отец. — Если бы только узнать. Я ходил в шестьдесят четвертом году по этому полю, не нашел. Если бы знать...

Через некоторое время сестры Юлия и Анна приехали в Ленинград. Они, как всегда, пришли с цветами к памятнику во дворе Технологического института имени Ленсовета. В альбоме, сделанном однокурсниками для музея института, увидели фотографию брата. Под снимком подпись, рассказывающая, каким замечательным был Марк — чутким, внимательным, удивительно скромным, деликатным, очень остроумным и жизнерадостным, он имел много друзей. Все, кто с ним соприкасался, искренне любили его и уважали.

Вечером собрались вместе родные трех бойцов — Марка Гейликмана, Михаила Вашкевича, Ростислава Хотинского. Они познакомились, показывали друг другу принесенные с собой фотографии и письма, говорили о своих близких. Расставались, как родные люди.

Друг, еще один друг...

Александра Александровича Блинкова я спросила о Хотинском потому, что всех художников, живших до войны в Ленинграде, я привыкла спрашивать, не знали ли они Ростислава. И пока никто не помнил: мой герой был молод и незначителен. Его имени нет и на мраморной доске в Союзе художников на улице Герцена, 38, где перечислены погибшие в войну члены ЛОССХа: стать его членом он не успел.

Александр Александрович Блинков — художник-баталист, его полотна, посвященные Великой Отечественной войне, находятся во многих музеях страны. Добровольцем он записался в народное ополчение, жил в блокадном Ленинграде, по заданию штаба партизанского движения работал в тылу врага, вместе с героями своих будущих картин ходил подрывать железнодорожные пути, был одним из тех художников, кто создавал экспозицию Музея обороны Ленинграда, рассказавшего о борьбе ленинградцев против фашизма.

В студии А. А. Блинкова на Васильевском острове рассматриваю картины, собрание блескучих блесен (хозяин студии — и рыболов, и охотник), пейзажи, на которых северные русские леса, высокие темные ели, черные тетерева на заснеженных ветках. Его картины можно увидеть не только в музеях. Где-нибудь в южных морях они напоминают собравшимся в кают-компаниях морякам о родной земле.

Студия — под крышей высотного здания, огромные окна открывают вид на новый микрорайон — дома, крапы, залив. Мирная жизнь. Но художник мыслями на войне: он взялся за разбор дневников, которые вел тогда. (Это явление удивительное, вызывающее восхищение: столько людей в Ленинграде вело военные, блокадные дневники!)

Спрашиваю привычно:

— А не знали ли вы художника Хотинского?

— Славу?! Он был мой друг...

Ну что ж, теперь со слов друга мы можем еще лучше представить жизнь молодых художников, объединенных занятиями живописью в студии АХРР в Демидовом переулке.

— Преподавали нам Вербов, Павел Аб. Ставили на тюремные — и мы писали. Что-нибудь вроде «Синий куб на желтой фанере». Вербов (это был очень хороший преподаватель, он дожил до глубокой старости и многих из нас учил) придирался: «Куб только кажется синим, писать надо — слоновой костью!»

Увлекались импрессионистами. Ходили на выставки всех направлений, на дискуссии о будущем искусства. Достали, помню, билеты на выступление Маяковского, — а он уже не мог приехать никогда... Славка горевал! А вообще он был такой выдумщик неустанный! Наши подруги жили в Пушкине, и вот в белую ночь — мы гуляем в парке, среди скульптур, наши девушки — в старин-

ных кринолинах... Славка у меня таким светлым пятном в жизни!

Вот снимок — мы с ним на фоне Днепростроя. Мой отец там работал, и мы приехали на лето. В обнимку стоим, на скале, внизу — Днепр. Это — моя собака. Мы со Славой на охоту ходили, но он не стрелял. Писали этюды, пейзажи, купались. На баштан придем — поедим арбузов, дынь.

Я ведь одно время жил у Славиной мамы, Надежды Леонтьевны, в доме у Пяти углов. Она мне была как родная. Котлеты делала отменные — из конины! И тоже любила театр. Она нам часто билеты доставала, и я все балеты и оперы посмотрел в те годы.

...Александр Александрович прочел дневник Хотинского. Он вспомнил многое, был взволнован. Каждый эпизод для него разворачивался в картину прошлых лет.

— Вот Слава пишет о Кэт, нашей натурщице. Интересная была девушка, она и в кино снималась. Жили Кэт с матерью на Пороховых, у них огород был и корова. Кэт старалась нас, молодых и всегда голодных художников, еще и угостить чем-то. Мы ее любили. Только весной ругали: она начинала загорать с апреля, а живописцы любят писать светлое тело... В блокаду Кэт иногда приносила мне молоко — в первые месяцы, конечно. У нее в доме мы собирались и после войны, часто вспоминали Славу...

— Художник Вагин хотел бы прочесть дневник Славы Хотинского, — позвонил мне А. А. Блинков. — Они тоже были друзьями.

Серафим Петрович Вагин, живущий за Мариинским театром, ждал меня. Комната его — обычная для старых ленинградских коммунальных квартир: проходишь прихожую, образованную большим, поставленным поперек комнаты шкафом, и попадаешь к окну, где стоит пара кресел, удобных для разговора, а остальное пространство занимают полки с книгами, портреты на стене.

— Ростик... — начинает рассказ Серафим Петрович. — Мы познакомились с ним в художественной студии, когда я приехал учиться из Средней Азии. Они с Надеждой Леонтьевной и приютили меня на первое время. Последний раз я был у Тамары Хотинской в августе сорок первого: перед уходом на фронт хотел взять армейский адрес Славы. О его судьбе узнал только после войны. С Надеждой Леонтьевной мы встречались в пятидесятые годы, в каждый ее приезд в Ленинград.

Художник достал снимки. Мать Славы была красива и в пожилом возрасте — тонкий нос с горбинкой, волна волос, живые глаза, улыбка. Вспомнилась семейная легенда знакомства родителей Хотинского: молодой офицер, следуя с русско-японской войны домой, попал в Иркутске на благотворительный бал. Красивая девушка, державшая блюдо для пожертвований, увидев, что он положил крупную купюру, сказала: «На месте вашей жены я бы не позволила вам такой щедрости...» — «За чем же дело стало? Будьте ею», — ответил гость и увез молодую жену в Петербург.

На довоенных фотографиях — чудачества молодой компании с переодеваниями, розыгрышами, и всюду — город: город со львами, колоннами, сфинксами.

— Как не любить его, — говорит Серафим Петрович. И вспоминает: — Мы занимались, по существу, самообразованием. Посещение выставок было для нас необходимостью. Шли диспуты по вопросам искусства, где противники порой не ограничивались словами, а выходили и подраться. Характерна была для того времени такая горячность. Спорили о художественных направлениях. Страсти разгорались. В нас был максимализм, свойственный молодым, готовым, по Маяковскому, «тащить Толстых из-под Евангелия, за ногу худую, по камням бородой». Мы, наверное, перегибали палку, но оттого, что ощущали себя участниками жестокой идейной борьбы. Энтузиазм в нас был самый неподдельный — безотлагательно построить коммунизм. Вся жизнь страны, города была нашей жизнью. Разве забыть, например, диспут между Луначарским и Введенским на религиозные темы. А как мы слушали Сергея Мироновича Кирова! Поразительно его редкое ораторское искусство. Были на вечерах Маяковского, Яхонтова, на встречах с Шостаковичем, Чуковским, Билибиним, Филоновым.

Филармонические концерты, оперные спектакли были частью нашей жизни. Преклонялись перед Мейерхольдом, его конструктивистским оформлением спектаклей. Любимыми оперными певцами были Барсова, Преображенская, Касторский, Пантофель-Нечецкая. Помню, как бесновались и чуть не падали с ярусов «печковистки», как толпами стояли они возле служебных выходов из театра, ожидая своего кумира Печковского. Мы, конечно, игнорировали подобный психоз. Но когда приехал Поль Робсон — тоже и встречали, и провожали со спектаклей вместе со всею толпой. Но это, пожалуй, больше из интернационалистских чувств.

Праздники любили — шли на демонстрации, пели революционные песни. В те дни задолго до праздников на Дворцовой площади (тогда площади Урицкого) строились грандиозные трибуны с огромными панно. Воздвигались объемные и полуобъемные фигуры из фанеры — коллективное кубистическое творчество ИЗОРАМа. Мы посещали ТРАМ, где шли нашумевшие пьесы «Выстрел» и «Плавятся дни».

Работали много. Часто собирались у кого-нибудь из друзей, танцевали под патефон, спорили, читали стихи.

Заводилой часто оказывался Слава. Каким он был? Среднего роста, атлетического сложения. Черноволос. Приветливое лицо с чуть вздернутым носом и довольно широкими бровями, почти сходящимися к переносице. Цвета глаз не помню, но кажется, светлые. По характеру прямой и очень честный. Бескомпромиссный. Отзывчивый, как и его мать — Надежда Леонтьевна. Организатор, заводила, прирожденный лидер. Он был экспансивен и вспыльчив, любил шутку и заразительно смеялся.

Серафим Петрович сказал мне, что у Павла Аба наверняка были фронтовые дневники, в них могли быть записи о Ростиславе Хотинском. Но Аб скончался одиноким. В Союзе художников мне удалось прочесть лишь опись, в которой значились его картины, рисунки, упоминалось «бюро, наполненное письмами и записями». Где все это — неизвестно, в комнате секции живописи Союза художников стоит лишь мольберт, о котором помнят, что он — от Павла Аба...

Я расспросила Серафима Петровича Вагина о его войне. Он был на Волховском фронте. (Всеобщность участия в войне просматривается, даже если только взять три «адреса» трех близких друзей: Хотинский — под Ленинградом на юго-западе, Елинков — в партизанах на Новгородчине, Вагин — на Волховском фронте.)

Серафим Петрович тоже пошел на войну добровольцем. Дивизия народного ополчения в декабре сорок первого по развороченному льду Ладоги за ночь прошла сорок километров от Борисовой Гривы к Кобоне и вступила в бой с врагом. В Погостье Вагин был тяжело ранен, началась одиссея странствий в эшелонах и госпиталях.

Июль. Бои за Урицк

2 июля. На этих днях я был на собрании боевого актива одной минометной части. Подводились итоги истребительного движения. Собрание состоялось на лоне природы, на берегу небольшой речушки. Погода была жаркая. Небо голубое, а облака густые-густые, как вата. Жужжали мухи, стрекозы, и было необычно в такой мирной тиши слышать слова о том, что враг готовится перейти в наступление, хочет сделать новую попытку взять Ленинград.

Лучшей минометной роте на этом активе было вручено переходящее знамя — подарок Кировских рабочих. В руках со знаменем один за другим выступали бойцы и клялись защитить город Ленина. Борьба предстоит большая и жестокая. С каждым днем враг усиливает воздушные налеты и обстрелы. В день собрания — 28 июня — противник усиленно обстреливал Шереметевский дворец, но не попал. Один из снарядов разворотил дорогу к минометной части, да так, что эту воронку (до двух метров) я никак не мог объехать на велосипеде. Пришлось сойти и переносить машину через кучи взрыленной земли.

Вчера, т. е. 1 июля, меня приняли в кандидаты ВКП(б) на заседании дивизионной парткомиссии, состоявшемся в арtpолку. С председателем ДПК я познакомился в политотделе. На заседание в арtpолк мы шли вместе. Дорогой толковали о старых кинофильмах с участием Веры Холодной, Мозжухина, Лисенко, вспомнили название «синематограф». Говорили о творчестве Аркадия Аверченко и других писателей. Подходя к арtpолку, за своей спиной услышали оглушительный взрыв: оказывается, на дороге, по которой мы только что прошли, разорвалась неприятельская граната. Расстояние до смерти — сто шагов, время — три минуты!

26 июня состоялась первая конференция фронтовых поэтов, на которой я делал обзор творчества командиров и красноармейцев, пишущих стихи. Большинство из них — начинающие, малоопытные. И только Глущенко и Бондаренко — старые писатели, имеющие за плечами стаж работы и много напечатанных стихов. Бондаренко даже член Союза писателей.

Сегодня жаркий июльский день. Хорошая летная погода. Уже дважды над нашим домом гудели самолеты противника, слышались разрывы зенитных снарядов.

10 июля. Только что слушал лекцию о международном положении. У меня было твердое убеждение, что всякую речь я воспринимаю хуже, чем материал, прочитанный самим. Однако эта лекция показала, что интересную тему в хорошем изложении я могу слушать, не ослабляя внимания, полтора часа и более. Следовательно, дело не во мне, а в интересе к теме и мастерстве докладчика. Надо будет учесть на будущее. Когда вернутся мирные дни и восстановится возможность работать и учиться, посещение лекций должно стать одним из методов моего дальнейшего самообразования.

После лекции был показан документальный фильм «Ленинград в борьбе». Эту картину интересно смотреть даже нам, испытавшим все это на самих себе. Что же касается ленинградцев, эвакуированных отсюда еще до наступления тяжелых дней и всех ужасов, которые пришлось пережить оставшимся здесь, то им этот фильм скажет многое. В нем есть детали ленинградской зимы 1941/42 года вплоть до саночек с покойниками, прорубей на улицах, людей, падающих от истощения... Дается это, правда, очень схематично, но все же оставляет глубокое впечатление и создает правильное представление о суровых днях блокады Ленинграда. Если Зоя и другие ленинградцы увидят этот фильм теперь, пока они еще далеко от родного города, их сердца обольются кровью...

Жизнь Ленинградского фронта — не только бои. Огромна политико-массовая, воспитательная работа, проводимая партийной организацией Ленинграда. На передовую постоянно приезжают ленинградские рабочие — рассказывают о том, как живет и борется город. Постоянно публикуются в газетах их письма: «Мы поможем вам в вашей трудной борьбе. Мы дадим вам столько боеприпасов и оружия, сколько это необходимо. Никакой пощады врагу!»

Вот сообщение: «Бойцам, командирам и политработникам наших подразделений показана пьеса К. Симонова «Русские люди». Спектакль, поставленный агитзвонком Дома Красной Армии имени С. М. Кирова, произвел огромное впечатление на зрителей».

А вот еще знаменательное событие: на фронт приехала делегация из Средней Азии — «между защитно-серых гимнастеров фронтовиков замелькали красочные

тубетейки и халаты южных гостей». Гости живут в землянках у фронтовиков, они привезли подарки, для них фронтовые артисты устраивают концерт...

Жизнь фронта — это и сбор средств в помощь детям-сиротам, пострадавшим от фашистского варварства, и письмо от ребят 5-го детского сада Фрунзенского района Ленинграда: «Дорогие бойцы! Мы получили ваши подарки и сердечно за них благодарим. Мы все желаем только одного: чтобы вы скорее прогнали врага с нашей земли и скорее вернулись к нам!»

А вот другое письмо от детей: «Защитите нас, дорогие отцы! После бомбежек из-под развалин домов извлекают десятки изувеченных, окровавленных наших товарищей. Так погибли Валя Ивашкевич, Юра Соколов, Вася Козырев и многие другие... Идите вперед и только вперед! Ни шагу назад! Ждем вас с победой!»

Далека еще была Победа, но делались уже первые шаги к ней. Рассказ об этом — в дневнике М. Вашкевича.

20 июля. Утро мы провели в дружеской беседе с моим новым товарищем по комнате Павлом Вебером. Секретарь редакции нашей газеты был отозван политуправлением фронта на должность военного корреспондента газеты «Смена». Мне было очень жаль его, так как у него я мог бы многому поучиться. Однако приход Павлуши Вебера и совместная с ним жизнь несколько искупили потерю: Вебер оказался подлинным любителем и знатоком литературы, библиофилом, человеком, которому хорошо знакомы критика, философия. Он много читал (французских корифеев литературы в подлинниках, так как знал французский язык). Мне обещал помогать, подарить книги по стихосложению, сборники стихов. Короче говоря, Вебер оказался для меня кладом, и с его помощью я бы очень пополнил свои знания в литературе. Но судьба готовила нам иное.

В разгар нашей беседы, когда мы мечтали встретиться после войны и посетить знакомые нам обоим рестораны «Люкс» и «Квисисану», в комнату ворвался редактор газеты А. И. Игольников и, задыхаясь, проговорил:

— Слышите?

— Что — слышите? — переспросили мы. — Стреляют, как всегда...

— Началось! — сказал редактор.

Оказывается, началось наступление наших войск на Урицк. Канонада действительно была из ряда вон выходящей. Дребезжали рамы и стекла окон. Выстрелы гудели непрерывными перекатами, то приближающимися, то удаляющимися. Через определенные промежутки резко звучал сухой удар ближней к нам батарее, который отзывался где-то в висках.

Из окна пустующей напротив комнаты мы видели, как над Урицком стлалась сплошная пелена дыма. Кружили наши самолеты. Непрерывно гудели их моторы. Бомбардировщики доставляли свои «подарки» в Урицк и, сбросив их там, возвращались обратно. «Ястребки» делали виражи на большой высоте, патрулируя и охраняя их.

Я вышел во двор. У соседнего подъезда толпилось человек двадцать. В чем дело? Привели пленного! Я подошел к толпе и увидел, что спиной к собравшейся публике и лицом к стене дома стоит со связанными назад тонким ремешком руками высокий, загорелый, здоровый фриц. На лоб свешивается прядь льняных волос. Лицо острое, с выдающимся подбородком и птичьим клювом-носом. Мундир темно-зеленый. На ногах грубые толстоподошвенные ботинки, торчат носки до полголени, обмоток нет, брюки-галифе. С шеи назад, через спину, растянута кашне ярко-красного цвета, которое почти свалилось. Под мундиром — джемпер бежевого цвета. Взгляд у фашиста угрюмый, но внешне он как будто спокоен, в глаза смотреть избегает. Говорят, когда захватили, плакал, боялся, трясся...

Посадили его в грузовую машину, спиной к кабине. Против него по углам сели два автоматчика. Повезли в Ленинград...

— Ну, ребята, вам придется идти на передний край, — сказал нам редактор. — Наши уже в Урицке. Завтра выходит газета. Надо организовать боевой материал.

Мы пообедали на час раньше обычного и пошли к переднему краю по шоссе. По дороге Вебер сказал, что в 14-м полку, куда он идет, — материала наверняка мало, а вот в 8-м полку, который фактически брал Урицк (и куда иду я), — много.

Мы были рады, что наконец-то началось наступление. То и дело попадались нам навстречу санитарные

машины с ранеными. Некоторые шли пешком — с перевязанными головами и забинтованными руками. У многих рукава и бока гимнастеров были сырые и коричневатые от крови. Чувствовалось, что впереди идет бой.

У командного пункта 8-го полка я простился с Вебером. Впереди рвались вражеские снаряды. На горизонте дымились пожары в Урицке. Я сказал Веберу:

— Павлуша, будь осторожен. Обожди, пока кончится обстрел.

Он ответил:

— Я его обойду...

По листве и стволам деревьев слышен был шум и цоканье разлетавшихся осколков.

В КП 8-го полка мне пришлось долго ждать, пока на передний край понесут обед, чтобы идти вместе с этими бойцами.

Сержант Зацепин только что вернулся из боя. Ответственному дежурному по штабу полка он сдал полевую сумку и бинокль фашистского офицера, штык-кинжал. В сумке оказались две карты: европейская часть России и карта мира на немецком языке, две коробки сигарет, около десятка писем, миниатюрные дорожные костяные шахматы, записная книжка, фотографии.

Зацепин рассказал, как пятая рота 8-го стрелкового полка быстро продвинулась в Урицк. Они дошли до Красной улицы и площади, атаковали фашистский штаб, убили офицера, были окружены, отбивались гранатами. Политруку Абросимову оторвало руку.

Вообще в этот день наши пехотные части могли занять весь поселок, но артиллерия, не зная, насколько продвинулась наша пехота, продолжала бить по Урицку. Самолеты снижались и бросали бомбы, обстреливали улицы из скорострельных пушек и пулеметов. Опасно было в таких условиях продолжать наступление.

...Мы пришли на КП 8-го полка. Я представился старшему батальонному комиссару Гармашу. Он встретил меня сердито:

— Какие там материалы?! Идет бой. Ничего еще не известно.

Тогда я отправился на минометную батарею.

В траншеях стояла вода. Сапоги сразу промокли — ноги не оторвать от вязкой глины, да и сам я взмок до звезды на пилотке, но шел не зря: вместе с воен-

комом минбата Пекленковым добрался до переднего края.

Шел бой, и по траншее нам неоднократно попадались раненые: в земле, в копоти, рваные, окровавленные, они брели, перебирались по стенке. Некоторых раненых несли на носилках, в плащ-палатках. Некоторые держались бодро и, приветствуя военкома, который шел впереди меня, поднимали забинтованные руки к пилоткам или к бинтам на голове.

В Урицке горели дома, над кварталами низко спустились штурмовики и обстреливали улицы из скорострельных пушек. Иногда сбрасывали бомбы: тогда над домами взвивались клубы желтого дыма и пыли. Работа эта была уже бесполезной, так как в Урицке немцев почти не было, тем более в близкой к нам половине.

— Смотрите, — сказал военком Пекленков, — видите, в высоте от Пулкова делают разворот больше десятка самолетов?.. Это, наверно, не наши...

Самолеты приближались, быстро увеличиваясь в размерах, затем перешли в пике. Я увидел длиннокрылые, но с коротким фюзеляжем, многомоторные бомбардировщики, концы крыльев торчали штыками.

Передние самолеты качнулись на одно крыло, раздалось какое-то улюлюканье, и я увидел, как от машин стайками по 12—15 штук отделились бомбы и со свистом приближались к земле.

Над нами была вторая тройка, снижались еще две.

Земля дрогнула, затряслась, раздался оглушительный грохот, посыпались куски сухой глины. Мы с военкомом легли на дно траншеи.

Снова послышались улюлюканье, грохот, и сухая глина посыпалась на наши головы. Я лежал вниз лицом и думал: «Неужели — конец? Вот так гибнут тысячи людей...» Но страха не было никакого: из эпизодов войны в Испании я знал, что бомбежка с воздуха страшна при прямых попаданиях, — республиканцы оставались живы в своих траншеях, хотя кругом вся земля была вспахана бомбами.

Последние бомбы легли где-то очень близко: нас почти засыпало землей, мне заложило левое ухо. Когда приближалось улюлюканье, я думал: «Лишь бы не на голову...»

Ко второму заходу фашистских самолетов мы с военкомом перешли в блиндаж: там было не так жут-

ко, хотя спасенье такое же — все зависит от того, как упадут бомбы.

От бомбежки с полчаса стоял грохот. Затем стертвятики удалились. Мы решили двигаться вперед, перебежали лощину, и надо сказать, вовремя. Заметив в лощине движение — два танка, санитарные машины с ранеными, — противник начал артобстрел. Разрывы ложились рядом. В рыхлую землю плюхались осколки. Я взял один из них и сейчас же бросил — обжегся!

Только мы хотели двигаться дальше — ударил тяжелый снаряд. За секунду до этого я видел в том месте группу наших бойцов. Всех их раскидало по дороге. Трое погибли, остальных волоком утащили по траншее. На дороге осталась зияющая воронка, редкий дым и мелкая пыль...

Траншеи носили явные следы боя: во многих местах были земляные завалы, лежали убитые, наполовину придавленные землей, валялись клочья одежды, окровавленные пилотки, платки, бинты...

В одной из землянок был полевой лазарет.

Девушка склонилась над рваной, окровавленной поясницей бойца, который лежал вниз лицом. Рядом, истекая кровью, ожидали перевязки еще человек десять. Некоторые стонали.

Но вот и место наступления. Нейтральную зону в двести — триста метров надо быстро перебежать, чтобы немцы не запустили миной или не открыли пулеметный огонь. Бежим! В лицо пахло ромашкой. Все поле усеяно белыми цветами, густыми, выше полуметра зарослями ромашки. Попадаются противотанковые мины. Опасаясь пехотных мин и вообще всяких подвохов, надо зорко смотреть под ноги и, маскируясь по кустам, бежать, пригибаясь...

То и дело зыкают пули.

Где-то близко сидят фашистские автоматчики...

Очень трудно непрерывно следить за ходом событий. Это ведь не вымысел, не кинофильм. С дотошностью летописца войны и уже владея собственной писательской манерой, Вашкевич записывает шаг за шагом на передовой в момент атаки.

...Ромашками это поле покрывается и сейчас, каждое лето. Я их рвала, эти цветы, еще не зная, на каком они растут поле. Яблоневый сад раскинулся в бывшей лощине смерти. Жители Ульянки, нового микрорайона Ле-

нинграда, любят тут загорать уже ранней весной. Ходить по полю трудновато — много каких-то ям, проволоки, порою дети находят среди травы неосыпавшиеся окопы, играют в войну, прячутся, наступают. Не одна ржавая каска тут ими найдена, попадаются и старые снаряды.

Зимой лощина бела от снега, и тогда тут катаются лыжники из окрестных высотных домов.

По краю микрорайона проходит Дудергофский канал — его провели в восьмидесятых годах, чтобы собрать воды мелких речек.

Возле станции Лигово, близ моста, нависшего над железнодорожными путями, в канал входит выступ. Здесь стоит обелиск. К нему от Петергофского шоссе ведет аллея молодых берез. Это и есть бывшая линия обороны.

Пройти ее можно за полчаса.

А сейчас, сделав эту передышку — взгляд почти через сорок пять лет, — возвратимся в траншею, по краю которой еще не скоро вырастут березы. Идет бой. Военкор Вашкевич перебегает через нейтральную зону — по ложине смерти.

...Когда раздается трель автоматов, падаем лицом в пыль. Затем снова бежим вперед. Но вот бруствер немецкой траншеи! Быстро перемахиваем через него. Надо отдышаться.

Наши бойцы заняли траншею и ведут огонь.

Кругом валяются патроны, гранаты, всякое барахло, убитые фашисты. Вот один, раскинув руки, лежит в боковой траншейке: от черепа остались одни краешки — в общем, пустой ковшик, лицо желтое, глаза полуприкрыты.

Фашистская траншея — хуже нашей, блиндажи с настилом из досочек, чуть прикрыты землей. Накатов нет.

Однако очень-то не осмотришься — стрельба. Инструктор политотдела Степанов рассказывал мне о начале атаки, а рядом разорвалась граната.

— Вот сволочи, — сказал Степанов.

Оказывается, где-то рядом, в зарослях ромашки, в воронках или каком-то укрытии, засело несколько фашистских автоматчиков. Они оказались, по существу, в окружении, но тем не менее дают о себе знать — то очередь простучит из пулемета, то бросят гранату.

Степанов дал мне исчерпывающий материал. Пора уходить, задание у меня — в номер. Пришлось, одна-



Обелиск у станицы Лигово.

ко, переждать: фашисты начали обстреливать из минометов нейтральную зону и свои бывшие траншеи. Когда несколько утих огонь, я снова побежал по зарослям ромашки.

У КП полка, куда зашел для передышки, рядом со мной сидела сандружинница Валя (фамилии ее я не знаю), черноглазая такая девушка. В стороне рвались снаряды. Отдельные осколки, жужжа, долетали до нас. Вдруг один из осколков стукнул Валью по голове. Она сказала:

— Ой! Осколок! Зашумело в голове...

Пилотка не была пробита. Осколок отлетел, видно, потерял силу, но тем не менее из-под шапки черных волос у Вали по лицу побежала струйка крови. Она наклонила голову — кровь закапала на землю. Вынули бинты, она сама перевязала себе голову, но через некоторое время все же ушла в санчасть.

Домой я возвращался в двенадцатом часу. Пользуясь темнотой и тем, что фрицев отогнали, в ход сообщения, где грязь и вода, спускаться не стал, пошел по краю траншеи, придерживаясь кустиков, деревьев и других прикрытий. Пытался отчистить грязь, но безуспешно: брызги глины до пояса, сапог не видно — сплошная глина, рукава и подол гимнастерки тронуть нельзя — поднимаются клубы пыли, спина мокра насквозь.

По договоренности с редактором я должен был вернуться в десять часов вечера. Когда пришел, в политотделе было темно. У телефона слышался голос Прозоровой — секретаря политотдела.

— Это кто вошел? — спросила она.

Я ответил.

— Наконец-то! — воскликнула обрадованно. — А мы вас ищем по всем телефонам. Редактор поехал на КП 8-го полка за вами. Магадуев говорил: был на минометной батарее, затем куда-то исчез. Вы знаете — Вебер убит... Мы думали, что и вы не вернетесь... Очень беспокоились за вас...

Смерть Вебера — тяжелая личная утрата для меня. Вот, думал я, наконец-то нашел интересного друга, но и его пришлось знать лишь несколько дней...

Сразу же сел за обработку материала. И только в третьем часу ночи я поднялся к себе на четвертый этаж. На столе лежит пятый том Малой Советской Энциклопедии, раскрытый Павлушей Вебером на слове «корректур» (назначенный на должность секретаря

редакции, он изучал корректорские знаки), на подоконнике его книга «Горький — поэт»...

Подложив под голову трофейный мундир, я плюхнулся на кровать и моментально заснул. Несмотря на обилие переживаний, усталость взяла свое.

Страницы дневника, посвященные бою 20 июля 1942 года под Урицком, дополняют материалы, которые М. Вашкевич подготовил для своей газеты. Номер вышел 21 июля — на завтра после сражения. Он открывается такими строками:

Идут красноармейские колонны,
Идут отважные в суровый бой.
За Ленинград,
наш город непреклонный,
За Ленинград,
любимый город свой!

А дальше на двух страницах номера мы встретим фамилии почти всех, кто назван Вашкевичем в его дневнике. Помните, инструктор политотдела Степанов давал корреспонденту материал для газеты, а тут рядом разорвалась брошенная фашистами из засады граната? Теперь читаем:

Перед боем бойцы подразделения, где сражался военком Степанов, написали заявления с просьбой принять их в партию.

«Идя в жестокий бой, прошу партийную организацию принять меня в кандидаты партии, ведущей весь советский народ на священную борьбу против гитлеровской чумы. Хочу идти в бой в первых рядах. И если погибну, считайте меня коммунистом.

Красноармеец связной Астраханцев».

«Прошу принять меня в ряды Коммунистической партии. В бой хочу идти в передовых рядах и вместе с коммунистами громить фашистских гадов.

Красноармеец Николаев».

«Товарищ политрук Абросимов! Прошу вас считать меня кандидатом ВКП(б), так как в бой я хочу идти только коммунистом.

Бессонов».

«Политруку товарищу Абросимову!

Прошу вас считать меня членом ВЛКСМ, так как в бою я хочу участвовать комсомольцем.

Новиков».

«С военкомом минбата 8-го полка Пекленковым пошел к переднему краю», — записал Вашкевич. В номере есть очерк «Воля комиссара» о том, как сражался Пекленков. Зная в совершенстве специальность наводчика, военком сам выпустил по врагу 200 мин, а военком Степанов, когда был ранен командир, сплотил вокруг себя красноармейцев и дважды поднимал их в атаку.

Общительным, внимательным человеком был Михаил Вашкевич. Если уж заметит бойца, поговорит с ним, потом у его командира при встрече обязательно спросит, как там такой-то. Потому так много фамилий записано в его дневнике — вроде бы просто списки потерь, а для него это живые люди. И когда думаю: а надо ли оставлять в этой книге все имена? — то решаю так, как хотел Вашкевич.

Эта книга — не для спешащего, а для того, в ком боль жива, даже если она не коснулась его дома. Для тех же, кто получил печальное извещение с номером полевой почты ППС-15, эти страницы фронтового дневника — надежда увидеть, узнать о том, как все тогда было.

Но вернемся к рассказу о бое, произошедшем 20 июля. Есть там заметка «Снайпер Горев в наступательном бою»: за один день этот боец уничтожил 32 фашиста. «Эта цифра — рекорд дня, такого количества истребленных фашистских гадов за один день еще не давал ни один из наших снайперов».

Горев был ранен, а как только вернулся из госпиталя, первым, кого встретил, был военкор Вашкевич. И вот — письмо снайпера в газете:

«Три недели я был в лазарете, да не лежалось мне: не мог терпеть, что товарищи дерутся, а я в стороне. Хватал костыли и лез на крышу, чтобы увидеть хоть издали, что делается на линии огня. Мне предлагали полежать еще десять дней, но я упросил врачей:

— Самочувствие отличное, давайте выписывать...

Мне надо торопиться. Расплатиться за брата, погибшего на юге. Надо рассчитаться за моего учителя — старшего политрука Марьенко, который убит при выполнении боевой задачи.

Я отомщу за них.

Завтра получу винтовку — и на охоту! На моем счету 127 фашистов, я доведу его в ближайшее время до двухсот!

Снайпер П. Н. Горев».

Мальчишеское лицо на рисунке, сделанном Павлом Абом, а будет снайпер Горев вскоре называться в одном списке с самыми лучшими стрелками, и не раз еще придет к нему в часть знакомый военный корреспондент.

23 июля. Вчера был в Ленинградском Доме Красной Армии на конференции поэтов частей Ленфронта. Обзор стихов сделала Елена Рывина. Выступал известный поэт Николай Тихонов.

Позавчера, т. е. 21 июля, я отправился на поиски тела Вебера. Мне сказали, что «там ничего нет». Я не поверил. Тогда один из красноармейцев проводил меня к этому месту. Я увидел рядом несколько огромных воронок, груды бревен, щепок, земли... В землянке, где погиб Вебер, бревна настила — по десять дюймов в поперечнике — раскиданы по сторонам, поставлены стоймя, квадрат землянки весь на виду, по краям — обвалившаяся земля. Кое-где валяются крупные (20×60 см) куски железа от хвостового оперения авиабомб. В зеленом ящике для боеприпасов собраны останки. Чьи — узнать нельзя.

В землянке кроме Вебера был капитан Сорокин и, кажется, еще кто-то. Искать труп бесполезно. Для памяти записываю место гибели: если идти от Ленинграда по дороге на Урицк, то это будет влево от Шереметевского дворца и чуть-чуть впереди его (то есть ближе к Урицку). От дворца в восьмидесяти примерно метрах, на линии к разрушенному домику, который стоит еще левее метров на шестьдесят.

Когда я вернулся в редакцию, мне сказали, что в развалинах землянки, где погиб Вебер, нашли его руку. Завтра я буду на этом месте еще раз и попробую сам что-либо покопать в земле и обломках.

24 июля. Был в 8-м стрелковом полку, узнал, что военком минбата Пекленков погиб. В бою с гитлеровцами на окраине Урицка убит военком 2-го батальона Постнов, у которого не так давно я брал материал. Ранен Ваничев. Тяжело ранены санитарки Быкова и Анкудинова, о которых мы писали в 72-м номере газеты «За Родину!». Одной оторвало ногу, второй искромсало живот — вряд ли будет жива. Вообще из строя выбыло много людей. Из знакомых — командир 1-го батальона Ковач, его военком Пшеничных, командир пятой роты Дмитриев, командир 2-го батальона Фирсов, секретарь парторганизации 8-го стрелкового полка

Румянцев, политрук Кравченко и многие другие. Многие ранены.

Все эти дни грохочет артиллерия. Канонада — небывалая. Над нашим домом в обе стороны с воем летят тяжелые снаряды. Некоторые из них пролетают близко — пятиэтажная махина слегка колыхнется...

Имена, имена, имена... Оставляю в рукописи их все. Пусть хотя бы еще чье-то останется запечатленным.

«Я должен жить долго...»

25 июля. Был еще раз на месте гибели Вебера. Ничего нет. По дороге вереницей тянутся забинтованные люди — бои продолжаются. Над нами гудят самолеты, грохочут зенитки — идут воздушные бои. Глядя на фашистских стервятников, вспоминаю, как военком минбата Пекленков, с которым мы прятались от разрывов авиабомб в траншее, клал свою голову мне на спину, а я ему доказывал, что эдак убьет сразу двоих.

В разведроту узнал, что погиб Яша Плокотнов — хороший, добродушный парень.

Придя в политотдел, услышал, что разрывом мины убит красноармеец Карчевский — талантливый молодой человек, сын профессора. Несмотря на свой двадцатидвухлетний возраст, он уже окончил филологический факультет Ленинградского университета, владел шестью языками. В нашей дивизии он был диктором на радию по пропаганде среди войск противника — передавал тексты по-немецки и по-норвежски...

Сейчас, видно, ударила «катюша»: раздались оглушительный грохот, и над крышей соседнего дома сразу в нескольких местах небо прорезали огненные пунктиры — следы пролетающих снарядов.

26 июля. Сегодня — воскресенье. Хочется помечтать, хотя и война. Говорят, перед тем как выпить чашу с ядом по приговору суда, Сократ читал какую-то книгу. Один из его учеников удивленно воскликнул: «Как вы можете читать за минуту до смерти?!» Сократ ответил: «Если не сейчас, то когда же мне читать?» Так и я хочу помечтать о будущем, которое, если останусь жив, будет совсем другим, чем до войны.

Где я буду работать, удастся ли мне к тому времени стать профессиональным писателем, сказать труд-

но. Но одно будет мною осуществлено неизбежно — это приведение в порядок моих знаний.

Какие задачи я ставлю перед собой?

1. Капитальное изучение марксизма и основ, на которых он созидался. Ознакомление (детальное) с различными направлениями буржуазных философских систем.

2. Изучение истории ВКП(б), а затем русской, всеобщей, греческой, римской, средних веков и т. д., то есть создание в своем собственном представлении полной картины развития человеческого общества от древнего мира до наших дней.

3. Изучение географии, физической и экономической, нашей Родины и всего мира.

4. Изучение французского и немецкого языков.

5. Изучение истории литературы. Ознакомление с литературой всех времен и народов.

6. Изучение русского языка. Словарь Даля, фольклор, пословицы, поговорки, чтение различных произведений о быте народов, эпос и т. д.

7. Освоение основ литературной работы, стихосложения, прозы.

Постараюсь создать свою библиотеку, а также буду посещать лекции, литературные вечера, диспуты, театры, кино, музеи. Обязательно буду просматривать иллюстрированные журналы за старые годы в Публичной библиотеке. Эта работа будет интересной. Отдыхать в ней я буду, лишь меняя ее содержание. Как быстро двинется мое самообразование — зависит от возможностей и наличия свободного времени. Но если даже работа эта займет пять-шесть лет, она не будет бесполезной. Если мою жизнь не оборвет случайность, то по своим физическим данным я должен жить долго, во всяком случае, еще 20—25 лет. А из этого срока потратить одну четверть на свой культурный рост — не так много.

Таковы мои сегодняшние мечты!

Удастся ли им осуществиться?

Придется дополнительно заняться физкультурой, дабы поддержать свои силы и быть в лучшей спортивной форме. Параллельно с учебой мне придется и работать, потребуется четкое планирование труда и учебы. Мечты большие, планы — наполеоновские, но каковы будут условия жизни, работы, много ли будет свободного времени, чтобы это осуществить? Да и когда кончится эта проклятая война?

28 июля. Сегодня я провел день, как будто вырванный из какого-то довоенного отпускного месяца...

Утром редактор вручил мне три партийных билета, пробитых осколками снарядов и окровавленных.

— Нужны стихи, — сказал он коротко.

— Хорошо, — говорю, — только здесь я их написать не смогу, следует уединиться.

— Устраивайся как хочешь, но в течение дня надо написать строк на тридцать стихи, посвященные их владельцам.

День был солнечный. Только изредка набегали белые облачка, и солнце пряталось на пять — десять минут. Затем снова пекло. Я взял Куприна, которого достал накануне, бумагу, карандаши и отправился на Красненькое кладбище, расположенное неподалеку от штаба дивизии. Пройдя по деревянным мосткам несколько поворотов, я зашел в гуцу крестов, квадратных оградок, надгробных памятников. В кустиках у одной из оград, над небольшим водоемом, заполненным дождевой водой, я увидел небольшой столик и скамеечку, выкрашенные голубой эмалевой краской. Я уселся, снял пилотку, разложил на столе свое имущество и минут пятнадцать наслаждался безлюдьем и тишиной. Затем погрузился в рассказы Куприна. Вдыхал аромат полевых цветов, щурился на солнышке, мечтал, оглядывая близкие могилы, памятники, кресты, и снова читал... Часа три запоем читал Куприна, затем разложил перед собой на столике партбилеты погибших и принялся за стихи. Тишина стояла необыкновенная. И вдруг раздался сухой звук разрыва шрапнели. Налево в небе на фоне белого плотного облака разбегалось черное пятно. Когда оно еще не успело растянуться, над ним образовалось новое, от которого, как от папиросы, отлетело, оставляя темный след, дымовое кольцо, затем оба дымка этих разрывов из черных превратились в белые и слились с облаком. Звук разрыва повторялся методически до 20—25 раз, но я уже не обращал на него внимания...

Стихотворение «Стойкость большевиков» было опубликовано с посвящением: «Коммунистам С. Адаменко, В. Лобанову, Б. Шабанову, отдавшим свою жизнь за Родину!» А начиналось оно так:

Свидетели стремительного боя,
Опасности глядевшие в лицо,
Безмолвные лежат передо мною

Партийные билеты трех бойцов
И, как живые, призывают к бою,
Чтоб разорвать блокадное кольцо...

Перелистав предшествовавшие номера газет, я нашла заметку медсестры Н. Касаткиной: она рассказывала о страшном бое, из которого три дня в полевой госпиталь приносили раненых.

«Одного из них я узнала — лейтенанта товарища Адаменко я знала как хорошего боевого товарища. Но он не мог спокойно лежать — вскакивал, метался, сжимал кулаки, грозил невидимым врагам. У него были многочисленные ранения груди, была перебита осколком кость плеча. Видимо, после первого ранения он остался в строю. Истекая кровью, продолжал драться. Сам перевязал свои раны. Перевязка сползла. Чем и как могла, я старалась облегчить его страдания. Он старался улыбнуться мне, хотя нечеловеческая боль искажала его слабую улыбку».

Кому из нас, газетчиков, не приходилось рифмовать! Если надо сказать четко, остро, призывно, — тут нет лучшей формы, чем рифмованные строки. Вашкевич отметил цветным карандашом то, что он сделал в газете. Часто попадают там стихотворные лозунги. Такие, к примеру, как:

Связь — это штаба нерв боевой.
Связист! Обеспечь телефон полевой!

Или:

Боец! По винтовке готовность твою
Мы проверяем в нашем строю.
Части винтовки горят, как алмаз, —
Значит, винтовка осечек не даст!

Нужны стихи — пишет. Каждый день ходит на передовую, собирает материал, сидит за полночь, готовя его в номер. И только после этого открывает свой дневник...

2 августа. Сегодня исключительно активно действует авиация противника. Весь день в небе гудят самолеты. Непрерывно рокочут зенитки. Немцы бомбят наш передний край. Сейчас над нашим домом идет воздушный бой — слышны очереди из пулеметов и скорострельных пушек. Видимо, немцы готовятся наступать. Посмотрим! Не быть им в нашем городе!

3 августа. Ездил в ТАСС за сообщениями Советского Информбюро. В городе стало очень пустынно. На

некоторых улицах людей почти не видно. Шесть женщин везли телегу. У «пристяжных» сделаны специальные лямки. Видно, везут они эту телегу не в первый раз.

На этих днях погибли известные мне новый политрук разведроты Глуценок, бывший секретарь парторганизации разведбата политрук Марьенко и командир взвода разведки лейтенант Михно (владелец патефона, который мы слушали вместе с ним).

20 августа. Читая сборник рассказов А. П. Чехова, нашел в предисловии такие слова писателя: «У меня в прошлом — масса ошибок, а где ошибки — там и опыт».

Эта фраза очень порадовала меня. У меня также было много в жизни ошибок. Больше того, я вижу все свои недостатки, непрерывно чему-нибудь учусь, никогда не был доволен своими работами; прочитав написанное даже неделю назад, вижу недоделки, фальшь, слабые места и стараюсь писать лучше. Сейчас я много читаю. Прочитанное сегодня воспринимаю совершенно иначе — более глубоко, чем это было, скажем, два года назад.

25 августа. Вчера получил письмо от жены Павла Вебера. Написал также ответное письмо Ниночке Суховой, которая, оставшись в одиночестве, немного растерялась, спрашивает совета, как ей быть. Посылки (три) ей посланы. В отношении жизни Нины я дал ей ряд советов: 1) продолжать учебу до 10-го класса, а там будет видно; 2) не делать легкомысленных поступков, особенно в связи с ухаживанием за ней парней (ей, видимо, 16—17 лет), и т. д. Написал также, как поступить с имуществом, доверенностью и проч.

28 августа. Вчера снова чуть-чуть не отправился к праотцам. По заданию редактора должен был идти за материалом в третий батальон 317-го полка, который накануне вел траншейные бои с противником. Всю дорогу прошел благополучно, но за пятьсот метров до командного пункта впереди меня разорвалась вражеская мина. Дело было в лощине за Шереметевским парком. Обстрел продолжался часа полтора. Я много раз нырял в укрытия, прыгал в траншеи, в одном месте сидел минут сорок. На моих глазах были убиты и ранены до двадцати бойцов. Я оказывал помощь раненым — оттаскивал их в укрытие.

Беседовал я с помощником командира полка Четвертаковым, начальником штаба полка майором Ко-



Подразделение лейтенанта Сухомлина по ходам сообщений направляется на передний край.

рюковым, старшими политруками Слинковым, Кобяковым, Кучу, Парфеновым, старшими лейтенантами Брилевским, Левицким, собрал хороший материал. Видел своих друзей по разведбатальону Игоря Сытова, Гришу Мещерякова и Гришу Голубятникова. По пути встретил разведчиков — младшего лейтенанта Васю Емцова, старшего политрука Пудовкина, двух Анечек — санитарок. Они мне сообщили, что Ваню Гореленкова осколком мины тяжело ранило в голову. Показывали трофеи — немецкий противогаз, какой-то значок, малюсенькую губную гармошку в виде брелочка, пистолет-автомат, плоскую кружку и другие вещи.

КП батальона помещается под насыпью железной дороги в лощине, которая идет за Шереметевским парком (там еще сделан такой цементированный свод — это для памяти, на случай экскурсии на это место после войны).

Командира, раненного в голову, и других тяжело-раненых в ожидании санитарной повозки внесли под насыпь. Командир был еще жив (через два часа после обстрела). А сколько здесь было стонов, крови, грустных картин! Многие ранены потому, что новички: вылезли на пригорок при движении, хотели пройти посуше! Немецкий наблюдатель заметил, фашисты открыли огонь. Между тем знающим фронтовые порядки мина не страшна, если, конечно, нет прямого попадания. Надо только внимательно слушать. «Тук», — значит, летит. Прячься! И действительно, через пять — десять секунд: «Жжж-и-и — трах-тарарах!» Прилетела. Тихо. Или опять: «Тук». Опять ныряй в траншею или в укрытие.

Домой я пришел вечером. Очень устал. Еще спасибо, какой-то боец подвез на повозке. Перед Красной церковью видел огромные воронки от авиабомб.

Вчера, 27 августа, в политотделе был получен приказ по армии о присвоении мне звания младшего политрука (два кубика в петлицу).

6 сентября. Вчера ездил в город за клише, заезжал к Жене на работу. Она сказала, что 4 сентября передавали по радио мои стихи и что они будут помещены в журнале «Ленинград», возобновляющем свой выход.

Между прочим, такой случай — не первый. Павлушка Аб пришел из Ленинграда неделю тому назад. Заходил в горком художников, где ему сказали, что о смерти Хотинского узнали только по поэме «Сержант Хотинский», которая передавалась по радио в Ленинграде. На Кировском заводе тоже передавали мои стихи.

8 сентября. Был в седьмой роте 8-го полка (теперь 340-й). Это на правом фланге нашей обороны. Почти у самого Финского залива, в непосредственной близости к «Пишмашу», занятому немцами. Местность низменная, болотистая. Вода выступает поверх травы во многих местах. Ходы сообщений там вырыть нельзя. Пришлось идти по открытой местности на виду у врагов, маскируясь по кустикам. Провожавший меня дежурный сказал:

— Как увидит группу в четыре-пять человек —

бьет минами, а по одиночкам — из пулеметов, «работают» и его снайперы...

В том, что они «работают», нам не раз приходилось убеждаться самим. Когда мы подходили к землянкам седьмой роты, прожужжали несколько пуль, но много левее нас: ветер с залива очень сильный, относит.

Землянки у нас насыпные, как муравьиные кучи. Командир роты говорит:

— Как только подует ветер с моря, нас заливает водой, особенно тяжело в обороне, в траншеях... Мы все, как суслики, вылезаем на кочки, брустверы траншеи, на насыпи землянок.

Десяток землянок обнесен небольшим рвом, заполненным водой, и валом до метра. Полоска воды меж камышами уходит к заливу. У перехода через вал стоит лодка. На ней бойцы ночью возят боеприпасы на передний край своей обороны, который в полукилометре впереди.

При мне бойцы вышли на работу. Их обстреляли из пулемета, но никто не пострадал. Проводили митинг, обсуждали обращение слета снайперов.

9 сентября. Ходил на КП 317-го полка. По дороге, проходя парком, видел, как гитлеровцы обстреливали лощину, которая впереди парка в одном километре. Несмотря на сравнительно большое расстояние, огромные черные столбы дыма вздымались в небо, затем земля осыпалась и стлался, приликая к траве, розовато-серой дым.

10 сентября. Начал писать поэму «Блокада», посвященную женщинам Ленинграда.

...Он мечтал, как мечтает каждый писатель, вбирая в себя впечатления жизни, передать их людям. Уже умел сказать так, чтобы то, что видел сам, увидели и ощутили другие: «По земле стлался, приликая к траве, розовато-серой дым».

Он намечал себе не такие уж долгие сроки жизни — в 38 лет говорил: «Могу прожить еще лет двадцать — двадцать пять». Не было бы войны, мог бы жить куда больше. Брал пример с великих. Как Сократ перед смертью, читал, философствовал, мечтал. Оставаться людьми в высшем значении этого слова — эта способность, не сломленная варварством войны, давала ленинградцам силу побеждать смерть.

12 сентября. Стало очень холодно. Сегодня ровно год, как, предводительствуемые Славой Хотинским, мы покинули стены Холодильного института и начали свои пути по линии обороны вокруг Ленинграда. Приходилось ночевать в открытом поле, в канавах, в укрытиях от снарядов. Бр-р-р! Холодно даже вспоминать об этом.

14 сентября. Прочитал книжку «Горький — поэт» (наследие Вебера). Свой отзыв о книге следовало бы записать в другой тетради, но, поскольку многие ее места связаны с моими воспоминаниями, мнениями, с моим прошлым и настоящим и дают некоторые прогнозы на будущее, заметки о книге «Горький — поэт» пишу в дневнике, чередуя свои мысли с выписками из книги.

«Внутренняя, духовная жизнь Горького была переполнена исканиями философскими, социальными, моральными, художественными». Такие искания свойственны каждому человеку. Редко кому удается сохранить свои мировоззрения, привычки, стремления до конца дней своих. Жизнь полна новшеств, ломок, — отсюда неизбежны и ломки характеров, взглядов, стремлений людей. Я лично во многом пережил ряд кардинальных ломок, в которых до сих пор еще не разобрался, да и не время сейчас разбираться. Большой переворот в моей душе произвела война, связанная для меня, помимо наплыва новых впечатлений, с возрождением (и основательным на сей раз!) моей творческой деятельности. Но эта новая ломка — в самом разгаре, и разбираться придется только после войны.

Социальные мои искания закончились, вернее, завершились тем, о чем мечтал и к чему всегда стремился: я — коммунист! Это — идейно, но в ряде мелочей я вижу большие недостатки (и видел раньше) у людей, носящих высокое звание коммуниста. Это возмущало меня. И со временем я разражусь, видимо, рядом публичных выступлений, за которые меня или побьют, или (если поймут правильно!) похвалят, послушают.

Наибольшие ломки я пережил в моральных исканиях (любовь, переработка наследственных черт отцовского характера, проблема ревности, мое отношение к дружбе, любви, жене, женщинам в целом, отношение к детям, взгляды на их воспитание и пр.), но вывода еще тоже нет... Мечтаю после войны перечитать свои письма к ЗК — дать точный анализ дружбы, любви,

ревности, совместной жизни с ЗК и ее колоссального благотворного влияния на меня.

Коротко могу сказать, что в моих моральных исканиях всегда было стремление к хорошему, искреннему, честному, доброму в отношении к окружающим меня. Я никогда не был и не буду шкурником.

В партию я вступил в действующей армии — в период наибольшего напряжения опасности над Родиной, готовый выполнить любое задание партии.

Друг Горького Н. З. Васильев наставлял его: «Свобода мысли — единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто ничего не принимает на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности». Это бесспорно правильно. Теперь я критически отношусь ко всему.

В поэме «Человек» М. Горький писал: «И как планеты окружают солнце, — так Человека тесно окружают созданыя его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятия...»

Все это очень верно и остроумно.

15 сентября. Вчера был в «Союзпечати». Жуткое впечатление на меня произвела Валя Кукушкина. До сих пор она страдает дистрофией в острой форме. Плохо выглядит и Лидия Евгеньевна. Встретил я и Бартоновскую, которая мне сказала, что Брегина, Полянская и Мургина умерли одними из первых, еще в сентябре — октябре прошлого года. Если к ним прибавить Корнишину, Козловскую, Сухову, Латышеву, Шеметеву, то выходит, что из аппарата Кировской райконторы «Союзпечати» больше половины людей уже нет.

16 сентября. Сегодня дежурил в политотделе. Всю ночь писал «Блокаду». Только что вернулся из клуба имени Газа. Смотрел пьесу «Русские люди» Константина Симонова. Какая сильная вещь! Сколько подъема вызывают герои этой пьесы. Вот бы показать ее всем бойцам Ленинградского фронта! Смотришь на сцену и вспоминаешь все такое же наяву. Все же умеют умирать русские люди! Какое совпадение: за окном оркестр играет похоронный марш, погиб командир, но



Через водную преграду.

кто — не знаю. Несут на дивизионное кладбище... А в воздухе гудят самолеты, и рама окна дребезжит от артогня, который ведет соседняя батарея.

18 сентября. У меня был знаменательный день: я закончил поэму «Блокада». Это большой труд — 272 стихотворные строки. Над «Блокадой» работал около десяти дней, то есть фактически сделал ее быстро. Но это лишь потому, что она меня самого очень захватила и взволновала. Некоторые места ее я писал со слезами.

21 сентября. Был в Ленинграде. От Кировского завода до Нарвских ворот маленький писклявый паровичок (заводская «кукушка») таскает на прицепе два трамвайных вагона (взамен трамвая). Необычно, но удобно!

23 сентября. Мне стало известно, что за время июльских боев, с 20 июня по 6 июля, наша дивизия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 3219 человек.

30 сентября. 28 и 29 сентября ходил на передний край. Оба дня — под обстрелом противника. 29 сентября пошли вместе с новым редактором Серпокрылом. За Шереметевской ложиной хотели идти в один из батальонов, но как раз у красного домика, в трехстах метрах впереди нас, начали рваться мины. Шли бы быстрее — угодили бы под обстрел. Редактор ска-

зал, чтобы я свел его пока в другое подразделение. По крайней мере, он сразу понял, что моя работа — все же работа под обстрелом и каждую минуту я рискую так же, как и бойцы, находящиеся в подразделениях переднего края.

На дороге мы увидели свежие разрывы, убитую лошадь с разорванным животом и двух красноармейцев, недоумевающих, как же им теперь доставить продукты к передовой...

Винтовка Ивана Добрика

1 октября. Сегодня солнечный, хороший, теплый день. И на переднем крае относительная тишина. Ходил снова по лощине. Снаряды летели и в ту и в другую сторону высоко и разрывались далеко. В общем, без особых переживаний.

У наших типографов взял на несколько дней патефон, проиграл свои любимые пластинки. Из новых мне очень понравилась в исполнении Изабеллы Юрьевой «Сердце любимой». И музыка, и слова этой вещи волнуют сокровенные тайники человеческого сердца. Я проиграл эту пластинку несколько раз, едва-едва сдерживая слезы.

«Много нежных сердец, но в одном, лишь в одном мой уют и мой дом... Загрустишь — и оно загрустит, недоспишь — и оно недоспит, засмеешься над шуткой любой — и оно засмеется с тобой...»

Пела Юрьева задушевно, мягко, ласково. А я думал о Зорьке. Лишь в ее сердце «мой уют и мой дом». Других сердец для меня нет. Сколько невзгод, переживаний, волнений поделила она со мной! Но все прошло, а нежность, ласка, забота ее остались... У ЗК — золотое сердце!

2 октября. Снова лощина, снаряды, осколки, как шмели. Дороги и деревья — осенние. Местами — огромные ковры из желтых опавших листьев. Иду по ним, и почему-то в глазах стоит Загородный сад в Калуге. Не могу равнодушно смотреть на признаки осени, осенние краски деревьев. Что-то во всем этом близкое, родное и вместе с тем грустное... Еще заметил много паутины, она так и тянется от кустов, от выступов камней на дорогах.

За время ходьбы вчера и сегодня прочитал буквально на ходу пьесу «Фронт». На дороге есть ровные

места, изредка лишь поцарапанные минами, по которым можно идти, не глядя под ноги. Пьеса издана маленькой брошюрой, ее удобно держать в руках и читать.

3 октября. Сегодня был на переднем крае. Лощину «освоил» хорошо, заметил, как из нее идут ответвления траншей, по которым можно пройти в любое из наших подразделений. Некоторые пессимисты называют эту лощину «долиной смерти» из-за того, что ее очень часто обстреливает противник и в ней нередки жертвы от артиллерийского и минометного огня и даже от шальных пуль. 26 августа в этой лощине я попал под сильный артобстрел.

И на сей раз пришлось идти под обстрелом тяжелой артиллерии. Снаряды рвались метрах в 300—500, осколки с жужжанием летели к лощине, два из них плюхнулись впереди меня метра на три — четыре: один — в ручей, другой — в грязь. После этого при каждом разрыве я приседал или же шел пригибаясь.

В КП пулеметной роты дали мне связного, который должен был провести меня к переднему краю. Сначала шли снова по лощине, а затем свернули в один ход сообщения, в котором лежало четыре трупа. В траншее месиво из глины, попадают мертвые мыши, лягушки, кроты. Ближе к переднему краю пришлось вылезти на бруствер — несли раненого: два санитары держали на плечах длинную палку, к которой была привязана плащ-палатка в виде флотской подвесной койки, а внутри нее, свернувшись в комочек, скрючившись, лежал раненый с забинтованной ногой.

Тут снова хочется на миг остановить ваше внимание: вот и еще мимолетная съемка — живой кадр давно минувшей войны. Я этого провисшего в качающейся на палке плащ-палатке раненого уже не смогу забыть. А кто-то еще, быть может, вспомнит такое и о себе: его выносили с поля боя, он нес товарища... Поражающая наше сегодняшнее воображение конкретность.

Пришел в пулеметную роту. В землянке восемь человек, они в шинелях, все испачканы в глине. Чадит коптилка. Командир взвода Полковников — приветливый паренек. Закурил, пользуясь кусочком красной ракеты, которую можно чиркать, как спичку, но затем надо быстро бросить на стол, где она горит, как порох, озаряя всех розовым светом.

Взвод расположен по существу в бывших фашистских траншеях, в некоторых местах слышен запах разлагающихся трупов, видно, где-то на нейтральной полосе еще не все убитые убраны. После беседы с Полковниковым я ходил в пулеметный взвод, откуда видел позицию немцев, расположенную перед крайними домами Урицка. Вправо — разрушенное здание станции Лигово. Ближе — разбитое красное кирпичное здание школы и другие развороченные здания. В взводе стоит снайперская винтовка известного снайпера — орденоносца Ивана Добрика, который ранен и находится в госпитале. Провожавший меня командир пулеметного расчета Вилкосов посоветовал «поохотиться». Я принял предложение, взял винтовку Добрика и с полчасика стоял «на тяге», но безрезультатно: в фашистских траншеях не было никакого движения, только чернели амбразуры. Вилкосов посмотрел в бинокль и тоже ничего не увидел: днем фрицы не передвигаются, больше утром и вечером. Кроме того, они сильно врылись в землю и на поверхности показываются редко. Вилкосов говорит, что иногда за ряд дней наблюдения никого не поймать на прицел.

«Я взял винтовку Добрика». Из одной этой строчки можно развернуть целую главу фронтовой жизни, да уже и написаны, годы спустя после войны, книги о таких, как Иван Добрик. Может быть, и Вашкевич видел в снайпере будущего своего героя. Почему же нет развернутых записей в дневнике? Очень все просто объясняется: он же отлично знал Добрика, да и в газете не раз давал его выступления. А дневник — это очень личное, это книга жизни души.

Сегодня винтовка Ивана Добрика выставлена в Государственном музее истории Ленинграда. Снайпер и его ученики, указано в аннотации, уничтожили из этой винтовки 376 фашистских захватчиков. Сам Иван Тимофеевич Добрик живет сейчас на Украине, в Винницкой области, пенсионер. А тогда...

Тогда ему было чуть больше двадцати, красавец! Во фронтовой газете портрет, нарисованный Павлом Абом: молодое волевое лицо, прищурен по-снайперски глаз, браво сидит пилотка. Он храбр и умен, в его честь песни поют! Вот она, «Снайперская песня» Бориса Тимофеева, с посвящением Ивану Добрику:

Пули наших снайперов без промаха бьют,
Песенники наши им славу поют.

Ну-ка, запеваля, знай, пришла пора —
В честь героя-снайпера грянуть нам «ура!».

«Какие песни, кому их было петь?!» — удивится не знающий фронтового быта.

А песни-то пели! Была музыка даже в сентябре сорок первого, когда наши воины одолевали самый яркий натиск врага под Стрельной и Лиговом: духовой оркестр играл марши и революционные песни, — и родная музыка была частью той жизни, которую они защищали. А уж солдатская самодеятельность во время позиционной войны — она была всюду. И нужна была еще как! Бойцы уходили держать оборону — нести свою вахту в земляных «лисьих норах» напротив позиций врага — их провозжали концертом, и это им было нужно!

И в каждой землянке были книги! Об этом говорят многие фронтовики, а вот документальное свидетельство из жизни того самого Ивана Добрика, прославленного снайпера Ленинградского фронта.

Был у Ивана друг — снайпер Касевин. Жили в одной землянке, Добрик даже считал Касевина своим учителем в снайперском деле. Вспоминал, как тот однажды на «охоте» велел ему повнимательнее поглядеть в бинокль на женщин, что роятся на поле. Добрик пригляделся — у «баб» щетина на щеках и сапоги торчат из-под сарафанов: фашисты замаскировались...

Сколько потом жило славных ребят рядом, а он все помнил Касевина. Вернулся однажды Добрик после нескольких дней отдыха в свою землянку — место Касевина пустовало. В углу аккуратной стопочкой лежали книги. Снайперская винтовка висела на гвозде. Тревожно взглянул Иван на соседа. Тот молча отвернулся. Иван понял все без слов. Нет друга... Раскрыл томик Лермонтова на странице, заложенной высохшей былинкой, прочел:

...Кровь собратий,
Кровь стариков, растоптанных детей
Отяготела на душе моей
И приступила к сердцу.
...И в мщенье обратила все...

Тяжело задумался Иван. Потом отложил книжку в сторону, снял винтовку с гвоздя и пошел к командиру.

Из винтовки своего друга Иван Добрик в один тот день истребил семнадцать фашистов. Счет рос с каждым днем, а 22 февраля 1942 года ему в Смольном вручили винтовку именную, с оптическим прицелом.

«Слава народному богатырю снайперу Ивану Добрику!» — вот как о нем писали летом сорок второго.

Огромная «шапка» открывает номер газеты, а в нем передовая статья, подписанная Иваном Добриком: «Мой боевой опыт». Урок, который он преподает товарищам. Четко, ясно он формулирует задачи:

«Истребители фашистов должны в совершенстве знать материальную часть и бой своего личного оружия, проверять винтовку после каждых 150 выстрелов.

Истребителю надо уметь маскироваться. Если охота ведется из траншеи, сделай несколько небольших бойниц по брустверу и меняй их после одного-двух выстрелов.

При наблюдении учишь распознавать хитрости врага, который выставляет много чучел. Стреляя в чучело, сам можешь попасть на мушку. Огонь веди спокойно, прицеливайся точнее и плавно спускай курок.

Уничтожай врага, вооруженный жгучей ненавистью к нему. Всегда помни об издевательствах фашистского зверья над нашими женами, матерями, отцами, братьями, сестрами, детьми.

Уничтожай до тех пор, пока на нашей священной земле не останется ни одного фашистского захватчика, до тех пор, когда ты сможешь подняться во весь рост, обернуться лицом к родному краю и сказать своей Родине: „Приказ выполнен полностью! Победа — за нами!“».

Видится, что они сидели в землянке рядом — Добрик и Вашкевич, снайпер и военный корреспондент. Был летний вечер, пахло ромашками. Добрик вернулся с поста — и 214-й убитый им фашист был записан в ученическую тетрадку.

— Делись опытом, Ванюша. Давай прикинем, как ты действуешь, что для снайпера главное. Ты ведь учишь молодых ребят, даешь им советы. Вот давай запишем эти советы для всех.

Записали. Прочли.

— Добро — подтвердил снайпер.

Назавтра номер газеты вышел с призывом: «Снайпер Иван Тимофеевич Добрик истребил 214 фашистов. Товарищи бойцы, равняйтесь на пример передовика! Множьте счет священной мести!»

А дальше — постоянные сообщения в газете о том, как растет счет мести Ивана Добрика.

Однажды появилась такая заметка: «В письме из госпиталя Иван Добрик спрашивает своих товарищей, не

стоит ли без действия его снайперская винтовка? Мы ни на день не забываем о хозяине этого грозного оружия и, верные традициям Ивана Добрика, повседневно охотимся с его винтовкой за врагами нашей Родины. Мы мстим врагу за раны нашего лучшего товарища и друга, перебили уже не один десяток фашистов.

Младший сержант А. Вилососов».

Вот и вспомним снова строчку записи из дневника Михаила Вашкевича: «...командир пулеметного расчета Вилососов посоветовал «поохотиться». Я принял предложение, взял винтовку Добрика...»

Над «долиной смерти» — журавлиный клин

Мы успели с вами, читатель, побывать уже и в Ленинграде восьмидесятых, увидеть на стенде музея винтовку Ивана Добрика, а незримый собеседник наш, военкор Михаил Вашкевич, все там, на передовой, теперь он пишет о командире взвода Сафонове.

...Его я нашел в землянке, которая вырыта как раз под нашим подбитым танком, а танк фактически на три метра за нашим передним краем. Танк наш, «КВ». Внутри его — наблюдательный пункт. Прямо из землянки, снизу, мы с Сафоновым влезли в развороченное брюхо танка (плиты разорваны и закручены, как высушенные листья дерева) и очутились в его башне. Здесь еще лучше видна панорама окраин Урицка и фашистских позиций. Все дома, видимые из танка, в руках противника. До них — 250 метров. Короче говоря, небольшая, неглубокая лощинка.

Обратно шел один. Видел рогатки, опутанные проволокой: их во время траншейного боя бросают в ходах сообщения, чтобы задержать солдат противника, если они где-нибудь прорвутся в наши окопы. По большой дороге Ленинград — Урицк, шлепая по осенней грязи, шли мне навстречу отряды красноармейцев с лопатами, противотанковыми ружьями. Становилось уже совсем темно, лишь их каски поблескивали от дождя.

7 октября. Сегодня узнал, что убит младший политрук Михеенко. Всего несколько дней назад прибыл к нам с курсов. Немного он проработал. Проклятая лощина!

12 октября. Был в 6-м полку. Попал под обстрел.

Первый снаряд так завизжал, будто разорвался над нашими головами. Мой связной, который должен был показать мне путь в роту автоматчиков, так ошалел от визга снарядов и грохота разрывов, что, выведя меня на насыпь железной дороги и показав, где землянки, побежал обратно. Я спустился с насыпи — снова визг. Я залег, надо мной — град осколков. Встал, побежал — вдогонку еще несколько разрывов, но далеко!.. На обратном пути на этом же месте снова пришлось несколько раз ложиться.

В роте автоматчиков встретил батальонного комиссара Литвинова, с ним вместе смотрели, как наши самолеты бомбили расположение войск противника. Огромные клубы земли и черного дыма поднимались на холмах, почти у горизонта. Пока смотрели — что-то со свистом, как метеор, упало с неба и зарылось в землю. Что это? Неизвестно, но от шума этого предмета мы все невольно присели.

Вечером наблюдал, как на юг улетала стая журавлей ровным косяком. Некоторые из них меняли места, перелетая с одной стороны треугольника на другую, но затем линии выравнивались до геометрической точности! Откуда у них такая привычка? Как работает их мозг или, вернее, каким образом развился у них инстинкт, чтобы так ровно держать этот треугольник?

15 октября. 13 и 14 октября пробыл на переднем крае в подразделениях бывшего 6-го (ныне 456-го) полка, проверял работу редколлегий «боевых листов», инструктировал их редакторов, собирал материал в газету «За Родину!». Ничего особенного за эти дни не видел. Обстановка на переднем крае сравнительно тихая.

Шел туда со знакомым уже мне связным — молодым белорусом, почти мальчиком. Он был из большой семьи, которая полностью осталась на территории, временно оккупированной противником. Сам он учился в ремесленном училище, затем немного поработал в Сибири, откуда и был взят в армию. Подходя к линии фронта, мы увидели гусей, улетающих на юг с их особым криком-клекотом. Летели они высоко. Их появление над передним краем и русские и немцы встретили активной стрельбой из винтовок и автоматов, но безуспешно. Гуси меняли направление полета и «потерь» не имели.

Обстановка на переднем крае — тяжелая. В траншеях и ходах сообщений по колено грязи. Люди на пе-

реднем крае землянок не имеют, рыть их трудно — выроешь на метр, а дальше выступает подпочвенная вода, и все ползет!.. Бойцы ночуют в небольших норах, вырытых на два-три человека в стенках траншей и прикрытых мешком, куском брезента или плащ-палаткой. Печек нет, а ночи холодные. Ноги мокрые, концы шинелей затвердели от глины. Сейчас выправляют это положение — роют землянки, ставят печки, но трудности большие, так как почва плохая, в седьмой роте особенно — под глиной песок, который размыт водой и нисколько не держится. Леса для накатов над землянками нет, приходится за каждым бревном идти по месиву траншей.

Ночевал я у своего старого приятеля по разведке — старшего лейтенанта Бориса Петровича Аверина. Спали в землянке четверо: военком батальона Кобаков, известный снайпер-орденоносец Николаев, имеющий на счету 217 убитых фашистов, лейтенант Малахов, герой боев 6 августа, и я. Аверин перешел в другую землянку.

— В Ленинград приехал снайпер Николаев, — сообщили мне из Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР.

О Хотинском и Вашкевиче Николаев говорил так, словно вчера их видел. А для меня это было поразительным воскрешением прошлого — через десятилетия.

Таким же знаменитым, как и Добрик, был в 21-й дивизии, да и на всем Ленинградском фронте, снайпер Николаев. Его именное оружие сейчас хранится в Тамбовском краеведческом музее. В этом городе живет Николаев. Но в дни особых для Ленинграда военных дат, в юбилейные годы он обязательно приезжает в город, который защищал. К дню прорыва блокады снайперский счет его был доведен до 342 уничтоженных фашистов. Николаев был среди первых прославленных снайперов. Само это движение как массовое родилось уже в сентябре 1941 года в 14-м Краснознаменном полку 21-й дивизии.

Ленинградская партийная организация, Военный совет фронта стали широко развивать его. Снайперов называли стахановцами. Между ними шло соревнование за умножение счета мести. Газета «За Родину!» завела Доску славы, где помещала имена лучших стрелков, постоянно пропагандировала их опыт.

Лучшими оставались Добрик и Николаев. Вдвоем их

и снял военный фотокорреспондент Г. Коновалов во время слета снайперов летом 1942 года. А военкор Вашкевич записал рассказ Евгения Николаева о непрерывном трехдневном бое, в котором он уничтожил 104 фашиста.

«Ночевал в землянке у Аверина», — записал Вашкевич в дневнике, а на страницах газеты появился его очерк о жестоком траншейном бое, который вело подразделение старшего лейтенанта Б. Аверина. 10 000 снарядов выпустили гитлеровцы в течение часа, после чего бросили свою пехоту в атаку. Но 96 вражеских трупов остались у траншей после боя. Враг не прошел и на этот раз.

17 октября. Сегодня — мой день рождения. Мне 38 лет. Уже второй день рождения встречаю в действующей армии.

Так записал в своем дневнике М. Вашкевич, дорогой мой собрат по профессии. Какое завидное умение — сверх работы вести еще дневник, сохраняющий ни с чем не сравнимую достоверность только что пережитого. Его страницы позволяют узнать, о чем думал и мечтал на войне этот человек.

Цифра 37 (лет) в прошлом году производила на меня некое фатальное впечатление: мне казалось, что ежели я ее переживу, то буду жить долго. Эта замолвка сбылась, но фаталистическая уверенность пропала: уж очень неожиданно и очень случайно обрываются жизни фронтовиков, и никому не известно, что будет с ним через день, через час!..

Свою тридцать восьмую годовщину встречаю в условиях активной творческой работы. Сейчас перечитываю «Войну и мир» Толстого. Пишу новую поэму «Седьмая симфония» — о музыканте, создавшем классическую победную симфонию в осажденном, полуразрушенном городе (в основу беру прообраз Дм. Шостаковича).

Сегодня предполагаю сходить в Ленинград — к Алексееву.

18 октября. Вчерашний день провел в семье Алексеева, и очень неплохо! Мой день рождения был отмечен обильным чаепитием из самовара (!) с шоколадными конфетами (!!). Бесконечно заводили патефон.

Вчера видел, как многие женщины волокут на зиму запасы дров. Две везли тележку с дровами, обливаясь потом, видимо, сильно устали, но на лицах обеих

радость: удачный улов! Как много тепла даст их труд зимой!

«Пишу новую поэму „Седьмая симфония“», — записал в дневнике Михаил Вашкевич. Это было выдающееся событие в жизни осажденного города — исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 1942 года. Прикасаясь к трагической странице жизни города, все явственнее ощущаешь единение людей, единство судеб участников обороны города, блокадников — именитых и безвестных. Вот и мой герой, чье имя до сей поры значилось лишь строчкой в сборнике фронтовых воспоминаний, соединен таким множеством духовных связей со всем бытием фронта и блокадного города, что это делает его собственную жизнь особенно насыщенной и чувствами и мыслью. Он читает только что изданные в осажденном городе книги, смотрит театральную премьеру (теперь мы знаем, каких героических усилий стоили актерам блокадные спектакли), среди первых видит кадры кинохроники, по которым ныне весь мир представляет себе трагедию и подвиг Ленинграда.

И эта короткая запись о Шостаковиче... Автора фронтового дневника взволновал творческий подвиг композитора. Есть и еще одна линия соприкосновения их судеб: в июле 1941 года вместе с коллективом Ленинградской консерватории Дмитрий Дмитриевич Шостакович строил оборонительные укрепления как раз тут, в районе бывшей больницы Фореля, где прошла недолгая фронтовая жизнь всех действующих лиц этой книги.

Я как-то была в гостях у библиотекаря Ленинградской консерватории тех лет Марианны Соломоновны Рудовой. Она тоже вспоминала и темные ночи блокады, и гибель уникальной коллекции древнерусских «крюков» — первых записей музыки, и, конечно, Шостаковича.

— Нас всех в консерватории послали на оборонные работы, — рассказывала она. — Мы копали окопы около больницы Фореля. Часть людей копала землю, а другие ее относили на носилках в сторону. Мне пришлось выносить, и моим партнером оказался Дмитрий Дмитриевич. Он был высокого роста, а я значительно ниже его. Получалось, что большая тяжесть падала на меня. Он очень старался облегчить мне работу. То склонялся, то как-то передвигал руки, опускал, поднимал... Уж такой он был человек! Это запомнилось мне на всю жизнь...

А для Дмитрия Дмитриевича Шостаковича эти дни

значили и то, что он уже слышал такты своей Седьмой. И когда в Ленинграде будет обсуждаться вопрос, где установить памятник великому композитору, стоит взглянуть и в эти места близ бывшей больницы Фореля.

...Журавлиные стаи и теперь летят все по той же небесной стезе. Каждый год. Но это — осенью. Мы же изберем весну — время, прихода которого так ждал Михаил Вашкевич, — и в апреле под вечер выйдем с вами, читатель, к местам, им исхоженным и запечатленным.

...Не знаю, ждут ли так весну в других краях, а нам она после темной зимы желанна. Светло! Удивляемся вечерами — как долго еще можно гулять, после работы обойди хоть весь город — и все светло. Ветер с залива свеж и ласков. Вот идут две пожилые ленинградки, улыбаются, рассуждают.

— Как хорошо! — говорит одна.

— Но уже начинаешь думать, что промелькнут белые ночи и опять — в пальто и темень.

— Конечно, да ведь, не будь такой долгой зимы, мы бы и не замечали, какая теперь красота. Как хорошо!

— Как хорошо...

Круглое красное солнце еще не скоро опустится в воду залива, и мы успеем с вами, читатель, пройти бывшим Шереметевским парком до бывшего переднего края нашей обороны.

От станции метро «Проспект Ветеранов» пройдем к проспекту Стачек. Неподалеку от места, где он пересекается с выходящим к Финскому заливу Ленинским проспектом, постоим, оглядимся.

Вот она, больница Фореля, ныне Дворец культуры «Кировец»: над крышей бело-желтого нарядного здания с колоннами две легкие сквозные башенки. Это — справа от Ленинского проспекта, если стоять лицом к морю. А влево, до Сосновой Поляны, — та самая земля, изрытая окопами, ходами сообщений, взрывами...

Дневник Вашкевича заложен у нас на листке, помеченном 28 октября 1942 года. В этот день несколько подразделений 21-й дивизии НКВД покинули поле боя: им дали отдых. Четырнадцать месяцев держали они здесь оборону — жесточайшую, несокрушимую оборону на границе родного города. Теперь путь их лежит к Щемиловке, в Невский (тогда Володарский) район Ленинграда. Мы еще последуем за ними по этой дороге. Теперь попробуем вернуть в эти места, где мы стоим, картины первых дней войны.

...Нет новых кварталов высотных зданий. Вдоль ведущей в Стрельну трамвайной линии небольшие зеленые поселки: Дачное, Речное, Ульянка, Княжево, Лигово, Клиново, Сосновая Поляна (не все перечислены — их было больше). Сады возле деревянных домов, совхозные поля, огороды. Старинные усадьбы с парками, прудами, дворцами — вдоль старой Петергофской дороги.

Дорога всегда была очень красива: ряды плакучих ив слева, над ними — Лиговская гряда. Справа — то отдаляясь и напоминая о себе лишь влажным ветром, то появляясь вновь совсем рядом — море. Когда проезжаешь трамваем этот путь и видишь усадьбы «Александрино», «Шереметево», Полежаевский парк, Новознаменский дворец, Сергиеву пустынь, Большой дворец в Стрельне, — два слоя времени входят в память: петровское, когда возник и начал осуществляться сам грандиозный план превращения двух берегов Финского залива в ожерелье дворцов и парков, и пушкинское (А. С. Пушкин писал: «Петербург ужасно скучен. Говорят, что свет живет на Петергофской дороге»).

А потом страница истории с датами, врезанными в память народа двумя цифрами, не требующими пояснений: 1941—1945. Здесь — тьма, прорываемая грохотом и огнем, смерть, борьба и победа.

Вглядимся в карту в историко-географическом атласе «Ленинград» — «Героическая оборона Ленинграда (июль 1941 г. — январь 1944 г.)». На ней четыре поразному заштрихованные, в кошмарных видениях измышленные клешни — план двойного окружения Ленинграда — с юга, от Риги, и с севера, от Карелии. От западной границы Родины хищные стрелы фашистского нашествия быстро движутся к Пскову. Карта рассказывает обо всем, что происходило тогда. 23 июля 1941 года (прошел месяц с начала войны) враг, наступавший с юга, остановлен на оборонительном рубеже по реке Луге. Рьяный напор группы фашистских армий «Север» и 4-й танковой группы сдерживает героическая оборона Лужского рубежа. За месяц, вырванный у врага, ленинградцы строят линию обороны под самым городом. И когда фашистская машина прорывается сквозь истекающие кровью, но не отступающие ряды бойцов Лужского рубежа, перед ней оказывается новый, уже неприступный рубеж — Урицк, Пулково, Колпино.

Темные стрелы на карте вонзились в Петергоф, перечеркнули Гатчину. Занята Стрельна (все в Ленинграде сегодня знают кадр из кинофильма «Блокада»: фашист-

ские мотоциклисты расстреливают выходящих из трамвая горожан...).

В городе идет запись в народное ополчение. Строятся баррикады. Разработаны планы боев с врагом на улицах Ленинграда. Оборонительные рубежи проходят по каждому каналу (Северная Венеция!). Последний рубеж — Мойка.

Передовая линия обороны города с юга вначале проходила на картах подготовки к боям от Угольной косы к Автову, через станцию Предпортовая, поселки Купчино и Мурзинка — это внешний обвод Ленинграда. Идет формирование, пополнение 20-й и 21-й дивизий НКВД: 20-я займет внешний обвод на северо-восточном направлении, 21-я — на юго-западном.

Пограничники, подразделения войск НКВД, милиции и народного ополчения вошли в 21-ю дивизию. В ее полки влились добровольцы, политбойцы многих районов Ленинграда. Трудящиеся Куйбышевского, Октябрьского, Невского, Московского районов считают дивизию своей. Кировский завод доставил на линию обороны бронеколпаки, бронированные стальные листы для устройства огневых точек, добавил к вооружению 21-й дивизии 18 пушек, смонтированных на трехтонных машинах, 75 отремонтированных пушек без панорам. Вместе с бойцами на сооружение линии обороны вышли ленинградцы: от четырех до шести тысяч человек работали на этих вот пространствах, под Лиговом (Урицком), каждый день. В течение двух недель были вырыты траншеи, оборудованы огневые позиции, землянки, наблюдательные пункты. Линия обороны была по сравнению с первоначальным планом изменена — отодвинута от Ленинграда.

Когда 31 августа руководители 21-й дивизии НКВД прибыли на первую рекогносцировку участка обороны и остановились на окраине Автова у полотна железной дороги, близ кладбища Красненького, видимость переднего края в направлении Стрельна — Урицк — Красное Село — Пулковое оказалась нулевой. Шереметевский парк, поселки Княжево и Дачное затрудняли обзор, они же могли дать врагу возможность сосредоточить под их прикрытием силы для броска к Автову.

Командир 21-й стрелковой дивизии Михаил Данилович Папченко, участник гражданской войны (Великую Отечественную он закончил командиром стрелкового корпуса), предложил переменить расположение линии обороны. Командиры направились дальше и остановились у развилки дороги Ленинград — Стрельна — Крас-

ное Село. Здесь обзор открывался широкий: видны были Горелово, Константиновка, Красное Село, Финское и Русское Койрово, Кискино, Пулковое, мясокомбинат.

«Это и натолкнуло меня на мысль о выдвигании внешнего обвода города навстречу врагу, на рубеж: Финский залив — клиновские дома — юго-западная окраина Лигова — деревня Новая — Койрово — Авиагородок — Купчино — Мурзинка, — писал в своих воспоминаниях о войне М. Д. Папченко. — Это решение оправдывал и тот факт, что наши тылы в Щереметевском парке и в населенных пунктах становились невидимыми для врага».

План был принят Военным советом фронта. Так сложилась та линия обороны, на которой происходит действие этой книги. Говоря о формировании 21-й дивизии, ее командир особо выделяет разведывательный батальон: он был сформирован заново, основу его составили пограничники, воины войск НКВД, прошедшие закалку в боях с финнами в 1939 году и с гитлеровцами в июне — августе 1941 года. В этот батальон не случайно попали участники сражений на Карельском перешейке Ростислав Хотинский и Марк Гейликман, имеющий флотскую выучку Михаил Вашкевич.

М. Д. Папченко вспоминал, как шли командиры дивизии, определяя будущие позиции. Запись поражает, если сопоставлять называемые в ней места с их сегодняшней живой картиной, — поражает реальностью кошмара, фантазмагии происходившего, можно сказать, в нашем доме:

«На станции Предпортовая осмотрели насыпь Балтийской железной дороги, убедились, что она явится хорошим противотанковым препятствием. Правда, требовалось усилить подразделение надлежащими огневыми средствами.

В Авиагородке решили включить прилегающую местность и все сооружения, сплетения железнодорожных путей в полосу обороны города. На Средней Рогатке решили поставить сильные противотанковые заграждения».

Четыре километра до Кировского завода. Полчаса на автомашине до Дворцовой площади. Об отступлении не говорил и не думал никто: за спиной был Ленинград.

2, 3, 4 сентября подразделения двигались на исходные позиции. С 10 по 13 сентября они пропускали сквозь линию обороны население, уходящее из пригородов Ленинграда. Люди, вспоминал М. Д. Папченко, шли без до-

рог, через минные поля, даже по мелководью Финского залива.

13 сентября, около 16 часов, части дивизии вступили в бой с врагом.

В ночь с 13 на 14 сентября фашисты заняли Урицк. Огромные силы врага были брошены в этом направлении. Фашистская группа армий «Север» выполняла приказ Гитлера — до начала наступления немецких войск под Москвой покончить с твердыней на Неве.

С 16 сентября 21-я дивизия вошла в состав 42-й армии Ленинградского фронта. Вот как описывает события на этом участке обороны Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков, командовавший с 11 сентября по 10 октября 1941 года Ленинградским фронтом:

«Утром 15 сентября противник возобновил наступление в полосе 42-й армии. Его четыре дивизии, усиленные танками и поддержанные массированными ударами с воздуха, упорно продвигались вперед. Ценой больших потерь врагу удалось оттеснить наши 10-ю и 11-ю стрелковые дивизии к южным окраинам поселка Володарский и Урицка. На других участках обороны этой армии атаки гитлеровцев были отражены.

...Чтобы предотвратить прорыв противника через Урицк в Ленинград, 16 сентября мы усилили 42-ю армию сформированной в начале войны 21-й стрелковой дивизией НКВД, 6-й Ленинградской стрелковой дивизией народного ополчения и двумя стрелковыми бригадами из моряков и личного состава различных частей ПВО Ленинграда.

...К 17 сентября бои под Ленинградом достигли наивысшего предела. В этот день до шести дивизий противника при поддержке всей авиации группы армий «Север» предприняли попытку прорваться к Ленинграду с юга в полосе наших 42-й и 55-й армий. Защитники города отстаивали буквально каждый метр, непрерывно контратакуя врага. Артиллерия фронта и Краснознаменного Балтийского флота вела интенсивный огонь по наступающим частям противника, авиация фронта и Балтфлота оказывала всемерную поддержку обороняющимся частям.

Оценив ситуацию как исключительно опасную, Военный совет фронта 17 сентября направил Военным советам 42-й и 55-й армий категорический приказ удерживать во что бы то ни стало занимаемые рубежи. В нем говорилось: рубеж Лигово, Кискино, Верхнее Койрово,

Пулковские высоты, районы Шушары, Московская Славянка и Колпино имеют исключительное значение для обороны Ленинграда, а поэтому ни при каких обстоятельствах не могут быть оставлены. «Ни шагу назад» — таково было требование этого приказа.

И нужно отдать должное нашим героическим советским воинам — они выполнили приказ. Непрерывными контратаками войска фронта вынудили гитлеровцев перейти от наступления к обороне. В отражении удара врага через Лигово и Пулково особенно отличились 21-я стрелковая дивизия НКВД под командованием полковника М. Д. Папченко, 6-я бригада морской пехоты полковника Д. А. Синочкина, 5-я дивизия народного ополчения генерала П. А. Зайцева и 7-й истребительный авиационный корпус полковника С. П. Данилова. Исключительную доблесть проявили артиллеристы 42-й армии...

К концу сентября фронт на подступах к Ленинграду с юга стабилизировался и оставался без существенных изменений до января 1943 года».

Многие участники сентябрьских боев вспоминают запомнившуюся всем картину: на вражеских позициях они заметили металлический блеск — это потерявшие надежду прорваться в Ленинград фашисты начали окапываться, орудуя саперными лопатками. Но только ежедневным напряжением сил на всей линии обороны достигалась эта стабилизация, когда сводки Совинформбюро сообщали: «Под Ленинградом шли бои местного значения».

Военный совет фронта объявил благодарность всему личному составу дивизии, как первой, преградившей путь фашистским захватчикам на ближних подступах к городу.

Совет ветеранов 21-й, впоследствии 109-й Ленинградской Краснознаменной, дивизии издал в 1983 году сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны (составитель М. П. Болотов). Здесь говорится о боевом пути дивизии, о Героях Советского Союза, сражавшихся в ее рядах, о том, как зародилось снайперское движение, — более одиннадцати тысяч снайперов дивизии за время фашистской блокады Ленинграда открыли личный счет мести врагу.

6 августа 1942 года дивизия получила новое наименование. У этого события своя волнующая история: ведь когда в День Победы, спустя десятилетия после 9 Мая 1945 года, по всей нашей стране собираются фронтови-

ки-однополчане, и происходит такая встреча в каждом районе крупного города и в каждом самом малом селении,— то сразу в двух городах-героях — Ленинграде и Севастополе — назначают встречу ветераны дивизий, носящих один и тот же номер — 109.

...Дивизия из кадровых пограничников, воинов войск НКВД и ополченцев, сформированная, как и в Ленинграде, в начале войны,— 109-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора П. Г. Новикова восемь месяцев героически держала оборону Севастополя. Уже в оставленном нашими войсками городе чекисты более десяти дней сражались с врагом. В горы к партизанам пробилась отдельные группы обескровленного в жесточайших боях воинского соединения, и вскоре в Наркомат обороны было доставлено его Боевое Знамя, словно впитавшее кровь polegших в боях бойцов. Было принято решение передать знамя прославленного севастопольского соединения воинам 21-й стрелковой дивизии НКВД, мужественным защитникам Ленинграда.

Под этим знаменем, овеянным легендарным подвигом севастопольцев, ленинградцы, едва приняв его, вступили в бой с тем же самым воинским формированием гитлеровцев, с которым бились воины 109-й в Крыму: под Ленинград была переброшена с Крымского полуострова 11-я армия под командованием фельдмаршала фон Манштейна. Ее задачей было — новым штурмом взять Ленинград. Планировалось прорвать оборону города с юга, затем повернуть на восток, с ходу внезапно форсировать Неву юго-восточнее города. «В таком случае захвата города можно было бы добиться быстро и без тяжелых уличных боев»,— предвосхищал свое вхождение в Петербург фашистский стратег.

Взгляните снова на карту: Синявинские высоты, Усть-Тосно, село Ивановское, Шушары, Пулковое,— здесь армия Манштейна в кровопролитных боях была остановлена в продвижении к Ленинграду. Тогда фашисты направили удар на позиции, которые защищала под Урицком 109-я (бывшая 21-я) стрелковая дивизия. И эту линию обороны гитлеровцы прорвать не смогли.

Вспомним страницы дневника М. Вашкевича — там найдем запись от 2 августа 1942 года: «Сегодня исключительно активно действует авиация противника. Весь день в небе гудят самолеты. Непрерывно грохочут зенитки. Немцы бомбят наш передний край. Сейчас над нашим домом идет воздушный бой — слышны очереди

из пулеметов и огнестрельных пушек. На разворотах плоскости крыльев отливают серебром. Видимо, немцы готовятся наступать. Посмотрим! Не быть им в нашем городе!»

По планам Манштейна 9 августа город должен был пасть. Эта дата стояла на пригласительных билетах, розданных офицерам на банкет в «Астории». Ленинградцы знали об этих намерениях гитлеровцев. И ту же самую дату поставили на других приглашениях — в Большой зал Филармонии, на первое исполнение в Ленинграде Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича.

...Я видела участников этого исполнения сорок лет спустя. Город отмечал юбилей одного из главных событий блокадной истории. Дети из школьного народного музея под названием «А музы не молчали» отыскивали всех: музыкантов, слушателей, летчика, доставившего в Ленинград партитуру симфонии, артиллеристов, подавивших вражеские оружейные точки, чтобы обеспечить полтора часа тишины.

«Когда я пришла на первую репетицию, мне стало страшно. От прежнего большого состава оркестра осталась небольшая горстка людей — истощенных, почерневших от коптилок, одетых непонятно во что, какие-то все маленькие ростом. На себе ничего не видишь, — рассказывает Ксения Маркиановна Матус (она исполняла партию гобоя). — И вот так называемый «оркестр» приступил к репетициям. Карл Ильич Элиасберг в то время находился на лечении в стационаре гостиницы «Астория», и, когда он вставал за пульт, я до сих пор не могу понять, где он брал силы взмахнуть палочкой. Его руки трепетали, как крылья у подстреленной птицы... Это чудо!»

«Играть было трудно, руки не гнулись, холода стояли очень сильные», — вспоминала первые репетиции Галина Федоровна Ершова (флейта).

«На репетиции приходили все, кто мог двигаться, — записал в своих мемуарах Сергей Константинович Карельский (флейта-пикколо). — Опоздавших не осуждали, так как они не сразу могли подняться по лестнице. Причину неявки отсутствующих знали: голод».

Четверо полуживых музыкантов ночами и днями расписывали ноты партитуры по партиям. «Трудности были большие. Не было черных чернил, не говоря уж о туши, не было нотной бумаги, не было перьев-«рондо», которыми пишут ноты». Музыкант Григорий Федорович Фесечко не добавил, что не было... сил.

А исполнение Седьмой симфонии состоялось и потрясло слушателей. «В ленинградском исполнении было свое — ленинградское, то, что сливало музыкальную бурю с боевой бурей, носящейся над городом. Она родилась в этом городе, и, может быть, только в нем она и могла родиться. В этом ее особая сила», — говорил Николай Тихонов.

Под эту великую музыку, держа ее в памяти, взглянем отсюда, с побережья, бывшего полем боя, в недалекий берег так, как глядели туда они в сорок первом — сорок втором. Там — Ленинград. Вон купол Исаакия, золотой шлем его отовсюду виден, слева — игла Адмиралтейства, шпиль Петропавловской крепости... Непредставимо, но все это были обозначенные в военных картах фашистских артиллеристов и летчиков цели под номерами, цели, в которые метили преднамеренно.

Сокровища зодчества были укутаны чехлами, выкрашены под цвет садов, улиц. Смольный накрыли сеткой, которую художники расписывали по-разному — в соответствии со временем года. На мостах, для того чтобы они сливались с рекой, ставились наполненные водой объемы. С непомерной и для мирного времени скоростью архитекторы, такие же больные, голодные, как все ленинградцы, проводили в блокадном городе обмеры зданий — на случай, если погибнут в бомбежке или от обстрела эти дома, — чтобы можно было в точности такими же восстановить их после войны...

Война не уходит из нашей памяти, даже если кто-то молод и в боях не был. Она не уходит из коллективной памяти ленинградцев. О чем бы ни шла речь, подспудно присутствует сознание: жизнь, искусство, наука — все это есть потому, что мы выстояли в войну, потому что под Ленинградом полегли такие, как безвестные герои этой книги. Словно бы еще и их глазами мы смотрим на воссозданные из пожарищ Петергоф и Гатчину, Пушкин и Павловск. Им благодарны, когда нам открывается бессмертной красоты панорама невских берегов, за то, что все это есть на земле, что можно идти по песку у края воды и видеть три статуи на фронте Пушкинского дома, Стрелку с Ростральными колоннами, гранитные шары на закругленном спуске, Дворцовый мост, Зимний со статуями прекрасных дам, провожающих зарю. Невозможно отвести глаз от знакомых примет этой единственной в мире картины. Горбатый мост над Зимней канав-

кой, Летний сад... Когда всего лишь произносишь эти названия, за каждым из них встает еще пласт прекрасных видений — мрамор статуй под чернотвольными липами, рисунки голландского кафеля и блеск медных приборов в Летнем дворце Петра, неисчислимы богатства Эрмитажа. Все живет в нас, потому что это город, в котором нет места, не обогащенного памятью.

Та же Красная улица, на которой до войны жил Михаил Вашкевич: тут значится на одном из домов имя Пушкина, тут — выход на Сенатскую площадь, тени декабристов... В блокаду совсем рядом, на Неве, стояли военные корабли и отсюда вели огонь по врагу...

Отсюда... Это мы помним не потому, что памятная доска с надписью укреплена на здании. Неотторжима от красоты города та давняя боль: все это было на грани гибели. Но может быть, именно тогда в ленинградцах, переживших войну и блокаду, укрепилась, как опора нравственная, слитность собственной судьбы с судьбою города.

...Мы далеко унеслись мыслями от места, где ведем рекогносцировку во времени и пространстве, определяемся на местности, бывшей полем сражения. Уточнив, что именно здесь, в пронзительной близости от сокровищ великого города, сдерживала натиск фашистских орд 21-я дивизия, в которой сражались три героя этой книги, приглашаю вас, читатель, взглянуть окрест себя глазами сегодняшнего ленинградца, отыскать под слоем времени следы минувшей войны.

От Финского залива наискосок пересекает Ленинский проспект магистраль, названная именем Маршала Жукова. Весь этот край — Ульяновка, Дачное, Сосновая Поляна, Лигово — несет в названиях своих улиц память о происходившей здесь битве: проспект Ветеранов, проспект Народного Ополчения, улица Маршала Захарова, улица Маршала Казакова. Накануне праздников в начале каждой такой улицы появляются стелы с портретами тех, в чью честь они названы. Улицы Солдата Корзуна, Подводника Кузьмина, Партизана Германа, Летчика Пилотова, Генерала Симоняка...

109-я дивизия уходила на отдых за два с половиной месяца до того дня, когда 12 января 1943 года в соединении генерала Симоняка оркестр сыграет «Интернационал» и бойцы Ленинградского фронта двинутся в наступление — на прорыв блокады. На линии Северного вала бойцы 109-й, вновь заняв свои позиции, штурмова-

ли фашистов, отвлекая силы противника от главной точки сражения — Шлиссельбургско-Синявинского выступа.

Город получил первую прочную связь с Большой землей, но оставался еще целый год до полного снятия фашистской блокады Ленинграда. 15 января 1944 года, в 9 часов 20 минут, от внезапного, громового, оглушительного залпа нашей артиллерии содрогнулась приневская земля. Части 109-й дивизии прорвали Северный вал, овладели Урицком, взяли станцию Лигово, в районе Нового Петергофа соединились с войсками 2-й ударной армии, которая двигалась с боями от Ораниенбаумского плацдарма. Так завершилась эпопея обороны Ленинграда на юго-западной его окраине, начавшаяся в трагическом сентябре 1941 года, завершилась победой, в которую вложены жизни моих героев вместе с тысячами и тысячами других.

22 апреля 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего 109-й дивизии было присвоено почетное наименование «Ленинградская». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1944 года дивизия была награждена орденом Красного Знамени. На площади Победы, в отделе Боевых Знамен музея-памятника Героическим защитникам Ленинграда, хранится и знамя 109-й Краснознаменной Ленинградской стрелковой дивизии.

Через четыре десятилетия на землю, в которой и сейчас еще просматриваются траншеи, где мальчишки, играя в войну, прячутся в вырытые солдатами «лисьи норы», на эту начиненную ржавым железом землю широко шагнул Ленинград: здесь его юго-запад, южное крыло морского фасада города. В этих местах воплотились новаторские разработки ленинградских градостроителей. Просторы Балтики задают масштабы и специфику построения морского фасада города. Плавная вогнутая дуга набережной создается искусственно, с помощью намыва. От моря в глубь территории идут поперечные планировочные оси. Планируются жилые массивы, равные городам.

...Там, где в шуршании льдистых камышей пробирались во вражеский тыл разведчики Хотинского, стоят сейчас землечерпалки и намывают берег. Финский залив должен стать глубже, а на прибрежной полосе раскинутся бульвары и пляжи. Там, где Ленинский пропект подойдет к морю, будет Приморская площадь: ансамбль у залива планируется торжественным, монументальным.



Дачное и юго-западные кварталы.

На рисунках варианта проекта — необычной архитектуры здания, искусственно прорытый канал, парки. Отсюда будет виден Кронштадт, и праздничные салюты на двух берегах будут перекликаться над заливом. И люди вспомнят тех, кого ракеты над застывшей водой заставляли вжиматься в снег и ждать, когда можно будет снова двинуться сквозь пургу и смертельный огонь.

Выйдя к морским берегам своими жилыми кварталами, город обретет новое дыхание. Мы по привычке ворчим на районы новостроек, а они просторны, удобны для житья и становятся все интереснее по композиции. Юго-западная окраина к тому же и живописна: здесь много старинных и новых парков, прудов, речек.

Мы стоим сейчас как раз на берегу пруда. Высокие точечные дома разбросаны по его извилистым берегам, территория закрыта для движения машин, внутри квартала — сады.

Я поднимаюсь на Лиговскую террасу, смотрю на края у новостроек и не могу отрешиться от постоянного соединения времен — нынешнего с прошедшим. Вот обрыв берега заполненного водой оврага, которому, по видимому, предстоит стать озером, мне же слышатся строки из стихотворения Вашкевича:

— Сержант? Все в порядке? Как вызов, нормален?
— «Чита», говорит!.. — Гудят провода!

— «Чернигов», сержант!

...Помогите, я... ранен...

В воронке чернеет от крови вода.

А по берегу идут молодые люди, говорят про экзамены. Мотоциклисты, парень и девушка в ярких куртках, положив рядом на землю алые шлемы, что-то налаживают в мотоцикле. Мальчишки в высоких резиновых сапогах плывут посредине пруда на плоту — и счастливы!

Прохожу мимо павильона, оставшегося от старинного дворца (где-то здесь была землянка, в которой погиб Павел Вебер). Иду по только что оттаявшим палым листьям. Опять ров, опять пруд. Дворец с колоннадой — Александрино, сооружение, относящееся к 1770-м годам, некоторые историки архитектуры связывают его с именем И. Е. Старова — строителя Таврического дворца, выдающегося мастера классической архитектуры.

Дворец был разрушен во время войны и восстановлен в 1960-е годы. При входе — объявление о приеме в детскую художественную школу. Хорошее назначение у старого дворца: ребята будут сидеть за мольбертами, писать портреты и натюрморты, оживлять глину...

За дворцом, представьте себе, посреди новостроек — деревня! Всего, правда, одна улица — Речная. Дома на ней деревянные, в резных узорах, при них сады и теплицы. По улице идет женщина, и я ее спрашиваю, не знает ли она, где тут стояли клиновские серые дома.

— Знаю, там и остановка трамвайная была — Клиново, да теперь все так изменилось!

Говорю ей, что погибли там два бойца, хотелось бы отыскать место.

— Да,— говорит женщина,— бои там были жуткие, весь город Урицк сгорел. Я там до войны жила, а как стали в сентябре сорок первого бомбить, уехала в Ленинград к родным. А теперь вот дали квартиру здесь, у самого леса. Место очень хорошее, только парки-то тут все новые, вон, строчками насажены...

Урчат вдали моторы — бульдозеры выравнивают землю, засыпают оплывшие окопы. Новые парки скоро сольются со старинными, а вдоль берегов залива поплывут речные трамваи и яхты. Но как бы ни обновлялась эта земля, здесь всегда должна жить память о том, что было.

От деревенской улицы Речной снова иду к проспекту Маршала Жукова. За ним широкая полоса зелени — быв-

ший Полежаевский парк. От Петергофского шоссе, где стоит памятная стела с якорем, идет аллея Славы из 900 берез. По ней можно дойти до обелиска у станции Лигово. В печати промелькнуло известие, что здесь должна быть установлена скульптурная группа. Ее авторы — народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР и премии имени Мартина Андерсена Нексе (ГДР) Г. Д. Ястребенецкий и народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР А. Н. Алымов, оба — участники Великой Отечественной войны, первый — скульптор, второй — архитектор.

Я поехала к Григорию Даниловичу Ястребенецкому, когда памятник был в модели. Имя скульптора мне запомнилось давно, еще с шестидесятых годов, когда ленинградцы начали сооружать Зеленый пояс Славы на линии обороны города.

...Дом художника на Песочной набережной в Ленинграде. Плывут по тихой Малой Невке длинные лодки с гребцами; напротив, у воды, примостились сфинксы в золотых уборах; сходит с трамвая, идет к Дворцу молодежи такой современный, энергичный народ.

В коридоре Дома художника, на первом этаже, который отдан скульпторам, — гипсовые головы, торсы, закутанные в пластик фигуры, до потолка — спиленные стволы деревьев, — такой вот непривычный интерьер. В мастерской Григория Даниловича — эскизы его работ.

— Вот такой я предлагаю проект памятника у станции Лигово. — Григорий Данилович показывает группу солдат. Вырубленные в камне, они должны встать на берегу Дудергофского канала у моста через линию железной дороги. Здесь один из семи узлов мемориала «Кировский вал», а сам он входит в уникальный, небывалый памятник длиной более двухсот километров, который ленинградцы соорудили на бывших рубежах обороны города.

К сожалению, мощное, искреннее народное движение, возникшее в шестидесятые годы, заглохло в последующие два десятилетия — и так и остается пока что незавершенным замечательный замысел. Невостребованной и по сию пору стоит скульптура Ястребенецкого, посвященная бойцам 109-й дивизии.

В конце сорок второго года, как пишет в своем дневнике Михаил Вашкевич, эта дивизия, остановившая врага близ Лигова, ушла на кратковременный отдых.

Отдых

28 октября 1942 года. Четырнадцать месяцев (с сентября 1941 года по октябрь 1942 года) наша дивизия держала оборону Ленинграда под Урицком. Мы защищали Ленинградский порт, судостроительный завод, Кировский завод, Кировский район. Много было трудностей и потерь! Но все осталось позади, все пережито, все преодолено! Все попытки врага прорваться на нашем участке обороны потерпели крах. Мы не только не отступили ни на один шаг — больше того: в июльских боях этого года, хотя и ценой больших потерь (3219 убитых, раненых, пропавших без вести), наша дивизия улучшила свои позиции, отбив у врага ряд его укреплений, траншей.

Особенно тяжело пришлось бойцам нашей дивизии в блокадную зиму 1941/42 года. Уменьшенный паек — 300 граммов хлеба, 100 граммов сухарей, жидкий суп; суровая морозная зима; неблагоустроенность траншей, отсутствие землянок. Люди целыми сутками мерзли в земле, подвергались частым артиллерийским и минометным обстрелам противника, не имели возможности развести огонь. Правый фланг нашей обороны (у Финского залива) весной, осенью в дождливые дни, в оттепель заливало водой.

Мы давно предполагали, что нашей дивизии должны в конце концов дать отдых. И вот это предположение осуществилось. 25 октября дивизию отвели в Володарский (ныне Невский. — Г. З.) район, на Щемиловку, станцию Фарфоровский пост, на расстояние 15 км от фронта... Редакция расположилась в Щемиловке, барак № 5 — деревянный одноэтажный домик на берегу какого-то озера. Впереди домика на расстоянии одного километра — трамвайная линия по проспекту села Смоленского. Позади — пути Фарфоровского поста, железнодорожные мосты, будки и др.

Устроились мы хорошо. В комнате 20 метров помещаемся я и секретарь. У меня нормальная кровать с матрацем, двумя простынями, одеялом, есть у нас стол, стулья, печка, вода — напротив в кухне.

Здесь нет обстрелов. В подразделения я буду ходить не по траншеям, а по дощатым и асфальтированным тротуарам. А самое главное — везде можно идти в полный рост, нисколько не беспокоясь о том, что вот-вот вражеский снайпер или шальная пуля продырявит

твою голову. Такая обстановка благотворно действует на нервы — народ действительно отдыхает!..

Надолго ли мы здесь — неизвестно. Предполагаем, месяца на два — до решающих боев зимой.

Здесь, в Щемиловке, слышен отдаленный гул фронтовой канонады. Недалеко бьют наши тяжелые орудия, содрогается весь наш дом, звенят стекла, но все это — детские игрушки по сравнению с тем, что было в Автове. Короче говоря, обстановка у нас мирная, кругом живут женщины и дети. К нам в комнату приходит маленький черноглазый мальчик Алик. Приводит меня в умиление и восторг. Так давно я не видел близко детей, не держал их на коленях! Я угощаю его сахаром, дарю ему открытки — вообще, дружим мы с ним. Он очень вежливый и умный, несмотря на свои два-три года.

1 ноября. На улице грохот зениток. Небо подпирают десятки прожекторов. Я насчитал сорок шесть! Где-то очень близко немцы сбросили несколько авиабомб. Наш домик так и подскочил. Я выходил на улицу — слушал, далеко ли летят стервятники и не клекочут ли авиабомбы над нашими головами. Но вражьи самолеты — далеко. Видно, сброшены крупные бомбы, если на большом расстоянии так колыхнулась земля.

Размышлял я о том, какую смогу задать себе программу чтения, занятия творчеством в мирное время. Думаю, что месячное задание должно быть минимально 100 часов, не менее 1500 страниц «чтива». Такая программа будет реальной, а при желании будет и перевыполняться. Прежняя моя мысль — дать помимо постоянной работы на производстве еще 180 часов в месяц творческой работы и занятий по самообразованию — нереальна! Считаю так: восемь часов на работе, полтора-два часа обеда, ходьба на работу, 6 часов — личные дела, 8 часов — сон, итого — ровно 24 часа. Но ведь каждый день такой режим выдержать трудно: бывают собрания, встречи, дополнительная работа — отсюда неизбежно отставание. А отдушины никакой нет. Короче говоря, 100 часов в месяц — нормальный минимум... А по чтению норма — 1500 страниц. Если, конечно, я буду когда-либо «свободным художником», — тогда все эти нормы можно будет изменить, так как все мое время будет принадлежать мне.

28 ноября. В разведроте узнал о гибели в одной из последних разведок связного Андрея Вольнова, с которым мы служили вместе больше семи месяцев. Жаль

его очень! Осталась большая семья — четверо детей. Живут в колхозе.

Вот еще одно имя. Что оно даст нам? Нам, может быть, и ничего. Но если оно дойдет до Алтая или того нынешнего места, где живут сейчас четверо детей Андрея Вольнова, то они узнают, где воевал их отец, как все это было.

Я вспоминаю, как Юлия, младшая сестра Марка, в слезах читала дневники Вашкевича. А может случиться, что и мы узнаем, какие выросли у солдата дети, как их поднимала на ноги мать, как поддерживали односельчане, Родина.

Я не пишу историю дивизии и потому не иду к ветеранам, хоть каждый из них — легенда и у всякого можно выведать полную картину его боевого и трудового пути. Им выпал дар жизни — они сами расскажут о себе. А мне, как прежде говорили, пали на сердце судьбы трех погибших бойцов, безвестных, — их голоса во мне звучат и рвутся на волю.

Из прошлогодних друзей со мной вместе находится лишь художник Павел Аб, с которым мы были в одном отделении, вместе ушли в разведку, а сейчас вместе работаем в редакции газеты.

Вчера получил письмо от В. Саянова, в котором он сообщает, что мой сонет «Солтановская плотина» будет напечатан в журнале «Ленинград». Просит прислать еще стихи. Одновременно пришло письмо из «Ленинградской правды». Литературный консультант Гнедич дает очень лестный отзыв о моих стихах. Это воодушевляет меня на новую усиленную работу, которую за последнее время я подзабыл.

Через несколько дней — декабрь, зима!.. А через три месяца весна! Много нового принесут нам эти месяцы. Сейчас радостные дни — наши войска успешно продвигаются на Сталинградском фронте. Каждый день радио сообщает о новых трофеях и пленных.

13—14 декабря был в 456-м полку. Шел дождь, дороги размыло, а в поле получились такие моря, что я на место назначения пришел по уши мокрый. Но, входя в землянку командира второго батальона, услышал звуки «Кабеситы». Музыка подняла настроение. Я разоблачился. Дали мне сухие валенки. Все мокрое я развесил у горячей печки, а сам сел пить чай. Связой комбата крутил патефон. «Рио-Рита», «Твоя песня

чарует», «Сыновья», «Венское танго», «На маскараде», «Счастливый дождик» — все интересные, звучные вещи. Сразу забыл и недавние невзгоды. Еще играли «Песню любви».

Как радуется Вашкевич немудреному, на наш сегодняшний взгляд, удовольствию — послушать граммофонные пластинки, как любовно перечисляет названия песен. Впрочем, разве и мы не слушаем их с чувством особым, только этим мелодиям отдаваемым, — они неотрывны от времени, которое мы хотим расслышать сквозь современные ритмы. Вспомним и другое: нет ни радиоприемников, ни магнитофонов, — черные тарелки радио и вот эти музыкальные ящики несут людям музыку. Великой ценностью были в окопном быту патефоны, а пластинки, которые выпускались в войну, не поступали в продажу, а прямо адресовались на фронт. Вот о каком явлении свидетельствуют упоминания о патефонных пластинках в дневнике фронтовика: в любых условиях, куда живы люди, им нужны и песни.

...В городе большая радость: дают свет! Это после годичного перерыва. Вода есть, свет будет, кино, радио есть. Театр тоже. В общем, город живет почти прежней довоенной жизнью, несмотря на близость фронта.

19 декабря. Дежурил в политотделе. Такие дежурства бывают раз в полмесяца. До трех часов в дежурке политотдельцы развлекали меня — накручивали патефон. Пластинки все оперные: «Фауст», «Пиковая дама», «Риголетто».

Писал письма.

Мечтал в 1944 году иметь второго сына.

30 декабря. 4 часа 15 минут утра. Немцы бомбят город. Окна в нашей квартире непрерывно дребезжат. Бьют зенитки. Я готовлю материал в новогодний номер газеты. Редактор и секретарь спят. А я буду спать завтра.

«Приснилось ему бирюзовое море...»

Вот и все, что успел записать в своем фронтовом дневнике Михаил Федорович Вашкевич. Болезнь остановила его, он писал теперь, вероятно, только письма семье из госпиталя.

Ночевки в подвалах, на сырой земле, в землянках

дали о себе знать. У него держалась высокая температура, силы таяли.

12 февраля 1943 года

Добрый друг мой, Зорька!

Сегодня исполняется девятнадцать лет нашей дружбы. 12 февраля 1924 года я послал тебе первое письмо.

В подарок к этому дню я хотел написать поэму о дружбе, да сил своих не соразмерил и написал только одну четверть того, что задумал. Пришлось поэму отложить. Прими, мой друг, послание в стихах.

В послании говорилось о любви, о желании встречи, были там строки:

Лес! Я хочу так тишины природы,
Чтоб из ушей повыбить орудийный гул,
Что настучали боевые годы.
Лес быстро к жизни бы меня вернул!

В неоконченной поэме — картина жизни, о которой мечтал умирающий на госпитальной койке поэт:

Приснилось ему бирюзовое море
И мраморный город, весь в белых цветах!
Не счесть парусов в этом водном просторе,
Не счесть самолетов в седых небесах!..

«Главная моя забота — остаться жить, потому что вопрос этот пока остается открытым» — это строчка из последнего письма Михаила Федоровича Вашкевича. Скончался он 28 марта 1943 года от туберкулеза и истощения, как сказано в выписке из истории болезни. «Где похоронен, неизвестно», — помечено там же. Родные приносят цветы на Пискаревское кладбище и кладут их к братской могиле, обозначенной годом тысяча девятьсот сорок третьим.

Сделав запрос, и я получила из архива Военно-медицинского музея такой же ответ: «Где похоронен, не указано. Госпиталь находился в Ленинграде». Впрочем, в той же справке названы ведь все госпитали, в которых пытались излечить лейтенанта Вашкевича: 281-й ОМСБ, АЭГ-926, ЭГ-1170, ЭГ-261. Публикую эти шифры в малой надежде на то, что кто-то из очевидцев сможет сообщить что-либо родным.

При всей кошмарной массовости смертей было что-то и привнесенное тем временем: в этом полном неста-

рании обозначить место последнего успокоения каждого человека. И вот след этого отношения: ведь до сих порobeliski, посвященные памяти воинов Великой Отечественной войны, по всей стране в большинстве своем — безымянны.

Память о клиновских домах

Вспоминаю, как в Пскове отец Марка мне говорил: «Если бы только узнать, где его могила. Если бы только знать...» Сейчас я могла бы ему рассказать, где погиб его сын, да для него запоздал рассказ.

Несколько лет прошло с тех пор, как прочла дневники и письма трех бойцов. По праздникам мы обменивались с их родными звонками и приветами, приток открытий и совпадений иссякал. И вдруг однажды... Невероятным даром стала для меня подпись к снимку, случайно принесенному в редакцию. «Каждый год в День Победы,— пояснялось на обороте фотографии,— встречаются у развалин своих домов в бывшем поселке Клиново на окраине Ленинграда его довоенные жители. Они приходят сюда теперь уже с детьми и внуками, вспоминают свое детство».

Клиново...

Клиновские дома! Их следы разыскивали родные Марка и Ростислава, я пыталась найти такое название в картотеке Государственного музея истории Ленинграда—бесполезно. Наверное, надо было искать настойчивее, да это и тревожило подспудно. И вдруг — Клиново!

Автор снимка Вадим Ситников снял старожилов поселка на его руинах. Клиново сметено войной в сентябре сорок первого года. Но что же влечет сюда людей каждую весну, всех, вот так вот, всем кланом?

— Да это еще не все на этом снимке! Это еще очень мало. Ходит нас до двухсот человек,— так начала рассказ о Клинове и клиновцах Мария Александровна Пронякина.— До войны это место было красивое, удобное, и там решено было поселить рабочих нескольких заводов Кировского района. В конце тридцатых годов были построены шлакоблочные дома — серые, четырехэтажные, всего их было пять. Поселились там многосемейные. Квартиры были и коммунальные, и отдельные, а двери не закрывались — замков не водилось. Мы жили — как больше я и не видела! Выходили вечерами с аккордеоном, с банджо, с гитарой, пели. Выносили па-



Жители разрушенного войной поселка Клиново на его развалинах.

тефон, танцевали, площадка была настоящая, утоптанная. Лыжи — одна пара на всех, коньки — в очередь, а катались все! И на санках с гор, и купались... Озеро там до войны было огромное, прекрасное. Это ведь шереметевские бывшие «розовые» дачи. Плотина была с мостом, грот, мельница настоящая, и даже мельник там жил — старик, он открывал шлюз, и тогда лился ручей. Бабья речка — нам по пояс, там мы учились плавать, а уж потом — в озеро, где со дна холодные родники. Еще мой папа, Александр Михайлович Тимофеев (он на

Кировском заводе проработал сорок лет) был «красный мастер» — ходил в чем-то там помогать мельнику. Не мы одни на озере отдыхали — и из Ленинграда приезжали сюда семьями, с бельевыми корзинами пирогов, с самоварами...

А в конце сентября сорок первого, числа, наверное, двадцать четвертого — двадцать пятого я уходила из Клинова, наверное, последней. Немцы пришли в Урицк пятнадцатого сентября. Клиново оказалось на нейтральной полосе, а место наше на горе — под самым обстрелом. Труп на трупе лежал — тут и красноармейцы, и жители, которые шли в Ленинград. В наш дом в тот день попало шесть снарядов. Убило сестру, брата, маму. Мама держала на руках внучку. Когда упала, девочку собой закрыла, та и осталась жива. Невестку в ногу ранило, я поползла к нашим через Бабыю речку, привела двух санитаров, они невестку на носилках унесли. У меня на руках девятимесячная дочка сестры осталась. А мне девятнадцать, и как с ней быть — не знаю. Рядом с нами был совхоз инвалидов. Вот оставлю соседке тете Юле девочку — сама туда, за картошкой, крупой или что дадут. Жили уже в землянке, солдаты мне в окоп козу приволокли, чтобы молока для девочки подоить, да я не справилась... Пальба, гул, ребенок плачет. Уходить самим нам не велели: «Ждите, за вами придут!» И верно, в какой-то из дней наши отбросили немца немного, пришли моряки: «Быстро, быстро, всем уходить!» Мне полотенцем вот так спереди Томочку привязали, а сзади рюкзак привесили, иду да падаю, стрельба кругом...

Держу в руках красноармейскую книжку Марии Александровны. Когда-то видела в музее такую же — Ростислава Хотинского, возле этих домов погибшего. Запись амуниции женщины-бойца читаю впервые. Графа «Шаровары ватные» перечеркнута, написано: «Чулки шерстяные», вместо «Рубаха нательная»: «Сорочка женская», размер 44...

36-я отдельная зенитно-артиллерийская дивизия, 1-я батарея, 313-й пулеметный полк, первая рота. Командир отделения.

Медали «За оборону Кавказа», «За отвагу» (спасала раненых на переправе через Дон). Почти до Берлина дошла. Снимок, сделанный в Варшаве («Полька мне волосы уложила»). Целая жизнь.

— Когда же вы после войны стали в Клиново приходить?

— Девятого мая сорок шестого года пришли. Там были таблички: «Осторожно, мины!» Стоял еще наш мост-шлюз, а озеро было выпущено. Как собирались? Искали друг дружку. «В Клиново пойдём?» — «Пойдём!» Приходили наши старые кавалеры — с гитарой, банджо, с аккордеоном. Правда, сильно поуменьшилось клинцев за войну. И сейчас нас наше детство объединяет, мы не друзья уже, мы — семья. На целый день туда уходим — и в дождь, и в снег — и собираем палки, костер жжем, если холодно, — и так до вечера. Придем, сперва поплачем, а потом ничего, отходит горе. Тут и посмеемся, вспомним детство. Все несем цветы, кладем на камни.

Могилка у нас там есть: дети были убиты, мальчик и девочка. Дети лиговские приходят, плетут венки из одуванчиков. Ветераны бывают — правда, их совсем мало. Жители идут. Спрашивают: «Вы что собираетесь — воевали здесь?» — «Нет, — говорим, — мы тут жили...»

Быстро растут деревья и дети.

Так ли давно я здесь гуляла с друзьями? Дочки были малы, а березки тонки. Теперь — неожиданно мощно, явственно — зеленая высокая линия по извиwu прежней смертной черты. Все так же белеют надолбы с надписями: «Аллея Канонерского завода», «Аллея судостроительного завода», других предприятий. Девятьсот берез. Песчаная тропа между ними. Спешу. Сказали: рядом с Объединенной больницей. Слева от тропы — строения, а справа... Справа только высокие травы, кусты, да какими-то извивистыми потоками светятся заросли белых цветов. Вдали большое красное солнце опускается за линию белых домов. А здесь, над кустами и травами, сумрак и что-то еще — невыразимое. Тропка в траве направо — вот они, камни Клинова. Угольно-серые камни с гнутыми прутьями металла. Вот и тропа к огороженному столбику со звездой:

Здесь 18 сентября 1941 года погибли
Николай Васильевич Тихомиров,
Софья Кирилловна Ляшкевич
и трое безымянных бойцов
при защите города Ленина от фашистов

Мальчик и девочка. Коля и Соня.

По праву человека, вбирающего чужую боль, утверждаю: нужно создать мемориал на месте рабочего поселка Клиново.

Я его вижу таким: пусть из этих камней вырастает лестница дома. Довоенного дома в Клинове. Пусть сбегают по ней ребятишки и по пути — «Тетя Нюша, у вас пирожки сегодня?» — угощаются с доброй руки. Пусть танцуют у невидимого дома пары, пусть на одной из площадок стоит, отжимая волосы, бронзовая девушка («...Шура считался моим ухажером, Колин брат. А мать его была банщица, я купаюсь — она поглядывает... Теперь на встречи наши ходить она уже не в силах, а все дочку спрашивает: «Катя, а Мария приходила?» — «Приходила». — «Катя, а она все красивая?» Шурина могилу тоже отыскивали, только отсюда далеко, под Тулой. А Коля вот здесь в Клинове лежит»).

Сюда я пришла с проспекта Ветеранов, а возвратиться думала — спустившись к трамвайной линии. Однако двое юношей, шедших навстречу, предупредили, что пути нет: ведутся работы и впереди обрыв. Я поблагодарила, повернула назад и долго еще слышала их голоса — показалось, что они в эту белую ночь читают стихи. И снова прошла мимо руин рабочего поселка.

Клиново и в самом деле стояло очень высоко. Отсюда, с его развалин, виден Финский залив, ближе — кварталы юго-запада, трамвайная линия, шоссе, потом плавни, которые вскоре перережет Дудергофский канал. И тогда, перекинув через него мост напротив Клинова, можно было бы сделать оттуда, снизу, высокую лестницу наверх, к мемориалу. Люди бы поднимались и слышали то запись звуков боя, то песню-символ:

Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год...

Сорок первый... Не стало на земле поселка Клиново. Не стало Сони и Коли. А когда ленинградцы идут аллеей Славы, то у каждой из девятистот берез найдется кому остановиться и себе сказать: «Вот в этот из девятистот дней случилась моя горькая потеря».

Высокими стали березы. Быстро растут деревья и дети, но и те, и другие беззащитны перед войной, сильнее которой — только память. Пусть память пересилит войну и здесь, на месте когда-то счастливого поселка Клиново.

Вот так узналась еще одна история из летописи Великой Отечественной войны. Так нашлось место, где погибли два разведчика. С их родными мы мерили шагами

расстояния, оставляли в густой траве цветы. В письме к матери Ростислава Хотинского Михаил Вашкевич писал: «...и друзья Славы создадут из мрамора его портрет». Вот пусть и встанет в двухстах метрах от развалин левого клиновского дома и еще на двадцать метров левее скульптурная группа «Разведчики» — на месте, где погибли герои, у которых нет могил.

Отклики на публикацию в еженедельнике «Ленинградский рабочий» стали приходиться сразу же.

«Уважаемый товарищ редактор!

Ваш призыв создать мемориал на месте рабочего поселка Клиново (на оперативных картах военного времени это место обозначалось: «Клиновские дома»), с которым выступила газета 20 июня 1966 года, поддерживают ветераны войны, защищавшие Ленинград на рубеже Урицка (Лигова), у стен Кировского завода.

Несколько лет назад вопрос об увековечении памяти защитников Ленинграда на ключевом рубеже, от защиты которого зависела судьба города, мы поднимали перед общественными организациями города, но до конца это дело не довели и потому особенно рады выступлению газеты. Считаем, что нужно сохранить в естественном виде Лиговское поле, создать мемориальную зону — начало Зеленого пояса Славы — «Кировский вал», от обелиска на берегу реки Дудергофки у станции Лигово до памятника «Якорь» на Петергофском шоссе, включая пойму реки Дудергофки. Ветераны 109-й Краснознаменной стрелковой дивизии (бывшей 21-й дивизии НКВД) еще могут показать каждую подробность дислокации войск. Мы считаем, что нужно восстановить участок полевой обороны: траншеи, землянки, ОП и НП (огневые и наблюдательные пункты). Вся эта территория должна быть объявлена заповедной. Здесь должен быть создан мемориал.

А. Копытенко, бывший командир батареи,
И. Васильев, бывший командир взвода».

...Это мне кажется невероятным, но я сижу рядом с Анатолием Терентьевичем Копытенко и слушаю рассказ человека, который все девятьсот дней блокады сражался на Урицком рубеже, а орудия его батареи стояли как раз в развалинах клиновских домов. Он показывает снимок из книги, изданной зарубежными историками. Развалины клиновских домов, а через них ясно просматривается, как говорит Анатолий Терентьевич, мартенов-

ский цех Кировского завода. Надпись: «Вид Ленинграда. Сентябрь 1941 года». Когда захватывали «языка», рассказывает ветеран, и спрашивали о ближайших целях фашистских войск, ответ был постоянным: «Взять Кировский завод — ключ к Ленинграду».

— Потому мы и стояли здесь насмерть...

Анатолий Терентьевич, горный инженер и пограничник, в войну стал артиллеристом. Он принимал орудия прямо на Кировском заводе. Сначала батарея стояла у Красненького кладбища, где теперь установлен танк-памятник. Затем пушки перебазировали к Урицку, втащили их сначала на второй этаж клиновского дома, а когда здания поселка были окончательно разрушены, — закопались в развалины, сделали накаты и так держали оборону. А поддержкой, самой сильной, был Кировский завод. Туда отвозили ремонтировать орудия — сначала тянули вручную на ремнях, по «долине смерти», а дальше лошадьми. Кировский завод изготовил для дивизии и «плавучие землянки» — броневые колпаки.

— Ведь плавни-то, где теперь парк имени Ленина, надо было тоже защищать. А как? Вот эти бронированные землянки мы и называли «лодки» — в них только-только, согнувшись, помещался боец, но оборону держал.

...Вот так, вот так. Если мы не запечатаем в натуральных экспонатах сейчас то, что так явственно помнят ветераны, — может исчезнуть из общей памяти то, чего нельзя забывать.

Только скульптуре под силу передать потомкам эмоциональную энергию, хранимую этим священным местом. Я вижу на столе у Анатолия Терентьевича рисунок-схему переднего края. Оказывается, в музее Нарвской заставы уже есть макет Урицкой линии обороны: его по чертежам Копытенко изготовили школьники. Теперь они делают копию, чтобы послать в Узбекистан, в колхоз «Социализм» Ферганской области, с которым полвека дружат кировцы: они отправляли туда свой первый «Фордзон-Путиловец». Читаю письмо директора колхозного музея интернациональной дружбы, он благодарит за книги, присланные из Ленинграда, передает приветы от четырех участников битвы за Ленинград, а возле фамилии пятого ставит в рамочку слова: «Он недавно окончил жизнь». Тут я вспоминаю заметку из фронтовой газеты «За Родину!». В ней говорилось, что делегация из Средней Азии привезла подарки и побывала в око-

пах у солдат дивизии. Тут я думаю о замечательном ленинградском скульпторе Борисе Александровиче Свинине, который «заселил» скульптурными образами узбекский город Навои, но еще ни одной скульптуры не поставил в своем городе.

Итак, только в одном разговоре с ветераном в первую с ним встречу — три объекта для скульпторов: артиллерейская батарея в клиновских домах, землянки-«лодки» на плавнях и встреча в окопах с посланцами Средней Азии.

Возникает уверенность в том, что к созданию мемориала близ Лигова надо подойти еще более разумно: это может быть парк скульптур. Ведь в Ленинграде такие высокие традиции этого искусства, работает столько мастеров, столько подрастает талантливой молодежи, есть прославленный завод «Монументскульптура». И при этом — такой голод на пластическую выразительность построек в новых районах. Вот же он, замечательный плацдарм для воплощения образов и мирной жизни, и счастья и любви, и жестокого боя за жизнь, за город, — Лиговское поле, клиновские дома.

С Анатолием Терентьевичем мы прошли по всей линии обороны на участке близ Лигова. И он показал: вот здесь, у полотна железной дороги, стоял его наблюдательный пункт. Вот отсюда вон к тому зданию, где расположился в Лигове фашистский штаб, рыли подземный ход, чтобы взорвать. Вот тут, по берегу залива, по камышам, шли лавиной балтийцы, а назавтра их бушлатами были устланы плавни — погибли все моряки. На памятнике — якорь, однако нет ни названия частей, ни тем более имен павших.

Анатолий Терентьевич рассказывает о том, что он сам видел: в январе 1944 года, как только дивизия снялась с Лиговского рубежа и пошла на снятие блокады, саперы установили на берегу Дудергофки, там, где погребено 800 защитников города, деревянный обелиск с надписью о том, что здесь стояла насмерть и остановила врага 109-я (21-я) Ленинградская Краснознаменная стрелковая дивизия. Это был, наверное, первый обелиск на нынешнем Зеленом поясе Славы. После он был заменен гранитным обелиском, который сейчас, пожалуй, красиво выдвинут на цоколе в Дудергофский канал. Но вот обозначения дивизии и имен павших бойцов на памятнике уже нет, не записаны на памятной стене, к которой приносят цветы.

Когда Анатолий Терентьевич вышел меня проводить, он показал во дворе своего дома некий «уникум»: в чу-

гунном столбе ограды, обрезанном на уровне глаз, кипело серо-сиреневое чудо из крохотных воробушков. Сколько их было в этом странном гнезде диаметром с крупную чашку — может, десять? Заглянув, мы поспешили отойти, пропуская пичугу, летевшую с кормом...

Металл и жизнь. Вот так бы в жерлах отслуживших пушек на зеленых берегах Дудергофки пусть бы лето за летом вырастали птенцы, а контраст металла и жизни неустанно напоминал: вот здесь именно шла война и отдавали ей свои судьбы люди.

Здесь, у клиновских домов, была самая узкая нейтральная полоса.

— Всего сорок метров до врага, — говорит ветеран. — Это по сведениям аэрофотосъемки — тут ни убавишь, ни прибавишь.

«Я присоединяюсь ко всем, кто за создание мемориала. И маленькое предложение: может быть, где-то в архивах сохранились фотографии домов Клинова, по этим снимкам и по воспоминаниям можно создать макет поселка, который стал бы частью будущего мемориала. Так хочется свое Клиново увидеть, хотя бы в макете.

Р. Бурчанова».

«Я — житель бывшего Клинова. Полностью поддерживаю предложение о создании заповедного мемориального комплекса и восстановлении былой красоты этого места. Из всей нашей семьи осталась в живых я одна и потому прошу, если возможно, увековечить память нашей семьи: отца Тимофея Аверьяновича, который до последних дней жизни ходил пешком к заводу, где он работал; брата Василия Тимофеевича, комсомольца-добровольца, погибшего в 18 лет при защите Ленинграда; моей матери и двухлетнего сына, погибших в Ленинграде от голода.

Е. Лебедева (Кудряшова), ветеран войны».

«Посылаю снимки, сделанные в Клинове. Возможно, кто-нибудь узнает Шуру и Сережу Смирновых и захочет узнать об их судьбе. Шура умерла в Ленинграде зимой 1942 года, Сережа в начале войны ушел в ополченцы и погиб уже в Германии от фашистской пули. Толенька, их сын, был отдан в детский дом и там умер.

В. Жидкова, г. Новосибирск».

Писем было несколько десятков — от жителей Клинова, от людей, которые хранят «похоронки», известив-

шие их о гибели в боях под Урицком близких. Снова неисповедимыми путями газетные листки попадали в Челябинск, в какое-то село Богословка Пензенской области, где люди помнили о Клинове. Вновь стали случаться открытия и совпадения. Так, оказалось, что предложенный со страниц «Ленинградского рабочего» мемориал — уже, задолго до нашего обращения, спроектирован! Удивительно, как сходятся в одной точке устремления людей, друг другу далеких.

Встречаюсь с архитектором Дмитриевым. Его талант — планировка огромных пространств. Оказывается, по его статьям в архитектурных журналах я изучала, какими станут места, где шли бои. И вот, планируя будущее юго-запада Ленинграда, главный архитектор проектов мастерской генерального плана института «ЛенНИИ-проект» Лев Борисович Дмитриев оставил бывший Полежаевский парк под мемориальную зону. А потом вместе с заслуженным художником РСФСР А. И. Алымовым сделал проект планировки мемориала, не дожидаясь заказов, в свое свободное время. Почему такой работой занялся Алымов, понятно: он участник Великой Отечественной. А Дмитриев? Он ведь родился накануне войны.

Вот рассказ архитектора.

— Война жестоко пеленала мое детство. Мой отец, Дмитриев Борис Александрович, пропал без вести. А что такое «без вести»? Это вот так, как было здесь, под Урицком. Он работал на заводе, имел бронь. Пошел добровольцем. Было всего одно письмо к матери: «Ухожу в самый трудный бой...» А за ним — извещение. А мы в это время в Белоруссии, под Витебском. Нас расстреливали, всю жизнь помню шепот матери: «Сынок, прижмись к земле...» Жгли. Знаю, что люди задыхались от дыма, прежде чем их касался огонь. Как вешать вельи — это сестренка помнит, она на год старше. Было скользко. Идет, за пальто матери держится. Спрашиваю: «Куда мы идем?» — «А ты у дяди спроси, куда он нас ведет». Но по дороге в деревню Углы — небольшой лесок, в нем поджидали партизаны и стбили. У сестренки пальтишко было красное — из одеяла сшили. Помню, зимой по опушке леса идем — вдруг самолеты, она на меня падает, собой закрывает, а пули по снегу... Несколько заходов. Злился тот, но не попал: мишень маленькая...

А Полежаевский парк — это же начало всего Зеленого пояса Славы. Сейчас его планировка внесена в Ге-

неральный план развития города до 2005 года.— Лев Борисович приносит схему будущего мемориала близ Лигова, пояснительную записку к проекту.— До войны здесь были красивейшие места, но жестокие бои до неузнаваемости изуродовали их. Погибли деревья, исчезли исторические усадьбы, разрушена плотина. Обмелела река Дудергофка, разрушились ее берега, исчезли искусственные водоемы — великолепное парковое искусство восемнадцатого — девятнадцатого веков.

Но можно многое возродить одновременно с созданием мемориала. И тогда здесь, где был остановлен враг, где намертво встали ополченцы и воины,— на этом участке заложенного ленинградцами два десятилетия назад Зеленого пояса Славы будет его начало: центр экскурсионных маршрутов, исторический музей под открытым небом.

Авторы проекта предлагают организовать три зоны парка.

Первая зона — мемориальная: по оси мемориала от здания Красносельского райсовета пройдет широкая аллея с группами серебристых елей и цветниками. Строгие памятные камни встанут вдоль аллеи. Может быть, как раз тут запечатлеть имена павших? Это большой труд — отыскать все имена, но это надо сделать.

Надо возродить плотину: в струях шестиметрового водопада авторы проекта предлагают установить скульптурную группу героев, противостоящих стихии.

— Небольшими затратами,— говорит Лев Дмитриев,— мы создадим игру стихий, это будет в традициях Петергофа; тут замечательный перепад высот, можно пустить и фонтаны. Мы создаем образ, символ события.

Вторая зона парка задумана как зона торжественной тишины. Это территория, окаймляющая аллею из 900 берез. На всем протяжении аллеи (около 2,5 километра) предлагается восстановить оборонительные сооружения военного времени и устроить выставку оружия (в том числе трофейного), применявшегося в борьбе за Ленинград.

Третья зона в проекте — рекреационная, то есть предназначенная для отдыха.

— Я должен заставить людей не забывать о прошлом,— говорит Л. Б. Дмитриев,— но я должен дать им и радость.

И вот эта радость — свет голубых озер, песчаные пляжи среди зелени, качели, карусели, спортивные площадки, кафе — это новые берега возрожденных прудов

Полежаевского парка. К тому же тут давние любимые петербуржцами дачные места. В разное время в Лигове бывали, жили Ф. И. Шаляпин, К. С. Станиславский, Т. П. Карсавина, здесь прошли детские годы Анны Павловой, в 20-е годы работал М. М. Зощенко.

Пришли положительные отзывы на проект из Кировского и Красносельского районных Советов народных депутатов, из Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. Неожиданно скорой была реакция исполкома Ленсовета: Главное управление культуры включило в план монументальной пропаганды на 1991 год создание мемориала «Клиновские дома».

А я третий День Победы хожу не на Невский проспект и уже не к Дворцу культуры «Кировец», где собирается 109-я дивизия, а сюда, к развалинам клиновских домов. В блокноте десятки имен, адресов. Клиновцы приносят фотографии. Теперь уже многое известно о поселке, о людях. Имя ему было дано в честь старого большевика Якова Ильича Клинова: он был одним из руководителей завода «Знамя труда», и по его инициативе в 1928 году началось строительство поселка. Хотели тут перед войной установить памятник Якову Ильичу, привезли большой камень — его, говорят, разбило взрывом на куски, самый большой осколок гранита стоит сейчас на могиле Коли и Сони. Как вспоминает Екатерина Васильевна Гончаренко (Тихомирова), на этом самом камне ее брат Коля каждое утро стоял с горном, созывая пионеров. А она была пионервожатой. Юный горнист был убит, как и Соня Ляшкевич, одной миной.

— Сходим к моему дому? — Мария Александровна Пронякина проходит по тропинке к голому пригорку, кладет тюльпаны под куст бузины — маме, сестре и брату, убитым в один день.

Группа клиновцев полнится. Приходит женщина, которую прежде я не встречала здесь, — Клавдия Сергеевна Румянцева. Она говорит:

— Запишите: под третьим домом похоронены Анна Егоровна Румянцева и Федор Иванович Румянцев — мой отец и мать, и еще там было две женщины, которые шли из Стрельны, и три солдата. Если будут здесь что-то делать, пусть люди знают... Попал снаряд в окно... Папа вот тут на нарах — слова не сказал, упал и умер, а маму и меня ранило. Хожу, вроде как они здесь...

Мы подошли к камням, в которых только она и может признать могилу родных. Рядом — тоже камни, тот самый, крайний слева, дом, от развалин которого вел счет шагов Михаил Вашкевич, когда рисовал для родных Ростислава и Марка схему места их гибели. Кругом дикий кустарник, болотная трава, воронки, заполненные водой. Лежит круглый камень — мельничный жернов. Как его занесло сюда с плотины?..

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дневник Ростислава Хотинского	5
Поиск	27
Ростик — Слава — Ростислав	32
«Твой сын не может стоять у прялки...»	40
Война. Год первый	48
«Путь наш был очень тяжелый...»	57
Разведка боем	68
«Теперь бы я начал писать!..»	73
Запечатлеть в бессмертном мраморе	76
Нить можно протянуть от каждого имени	82
«Желаю тебе жизни...»	89
Беспокойная ночь	99
Контрасты военной весны	106
«Работаю в редакции газеты...»	110
«Это в моей жизни большое событие...»	113
«Мы и любили его нежно...»	116
Три дня в доме Марка	119
Друг, еще один друг...	136
Июль. Бои за Урицк	141
«Я должен жить долго...»	154
Винтовка Ивана Добрика	165
Над «долиной смерти» — журавлиный клин	170
Отдых	189
«Приснилось ему бирюзовое море...»	192
Память о клиновских домах	194

Зяблова Г. Г.

399 **Строка на обелиске: Документальная повесть.**—
Л.: Лениздат, 1989. — 207 с., ил.
ISBN 5-289-00325-8

В свою книгу ленинградская журналистка включила дневники и письма трех участников Великой Отечественной войны, погибших при обороне Ленинграда. Собранные воедино, эти документы поведают читателю о подвиге, жизни и любви простых советских людей, тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

3 $\frac{1305010000-270}{M171(03)-89}$ 82-89

63.3(2)722.78

Галина Георгиевна Зяблова

СТРОКА НА ОБЕЛИСКЕ

Документальная повесть

Заведующий редакцией **А. В. Коротнян**

Младший редактор **И. В. Петрова**

Художник **Г. О. Вельте**

Художественный редактор **И. В. Зарубина**

Технический редактор **Н. Н. Дмитриева**

Корректор **В. Д. Чаленко**

ИБ № 4816

Сдано в набор 17.04.89. Подписано к печати 11.08.89. М-18253. Формат 84×108^{1/32}. Бумага кн.-журн. Гарн. журн. рубл. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отг. 11,34. Уч.-изд. л. 11,32. Тираж 15 000 экз. Заказ № 95.
Цена 85 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

